

Р5.33

К886

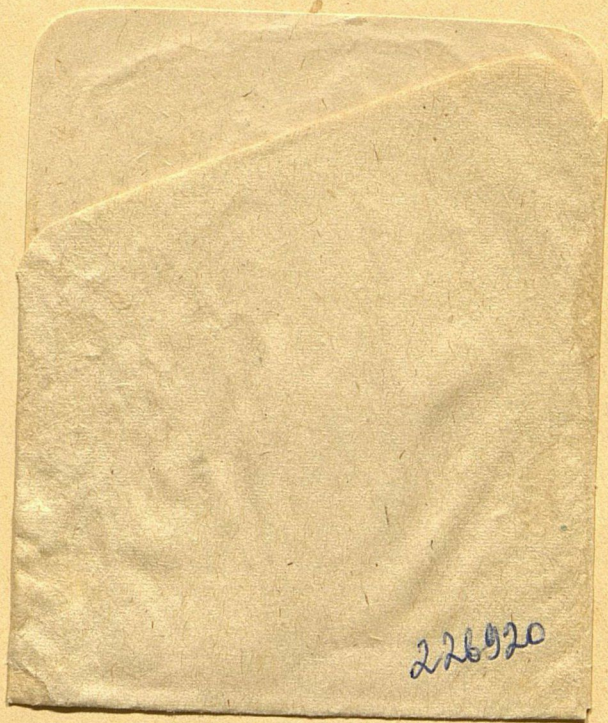
Кугель А.

Литературные

воспоминания

Пг.-М. 1923.

25

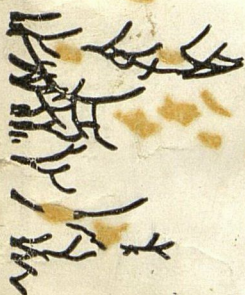


226920

А.Р.КУГЕЛЬ

/ HOMO NOVUS \

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

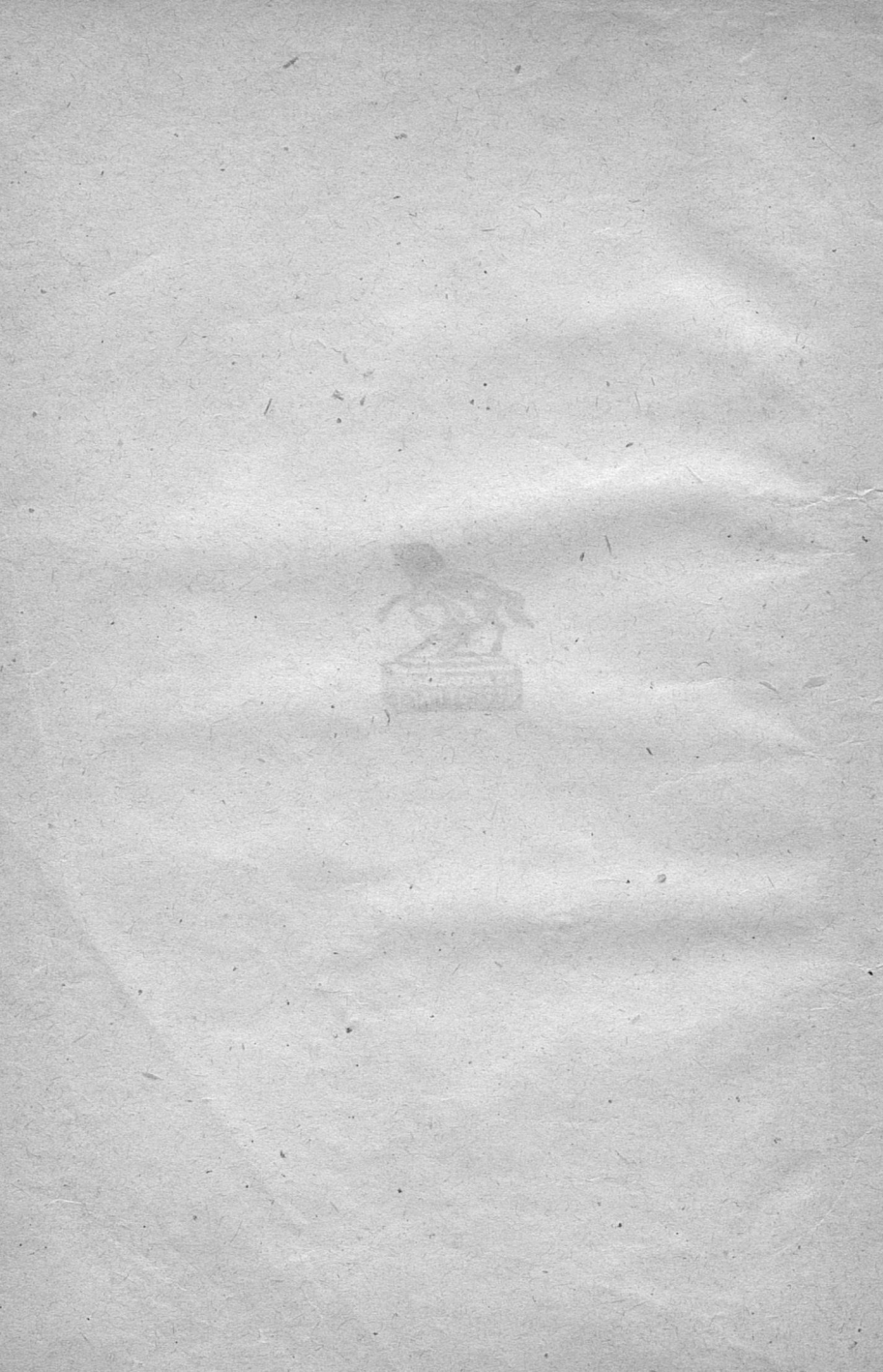


ПЕТРОГРАД

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПЕТРОГРАД»
1 9 2 4

МОСКВА





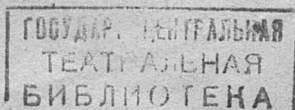
85.33
к 886

А. Р. КУГЕЛЬ
(HOMO NOVUS)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(1882—1896 г.г.).

226920



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОГРАД“

ПЕТРОГРАД — МОСКВА

1923

3

Петрооблит № 7982

4.000 экз.

Типо-Литогр. „Красный Печатник“, Петроград, Международный, 75.

От автора.

Первые страницы своих „Литературных воспоминаний“ я стал набрасывать в 1918 — 19 гг. — во время полного и совершенного литературного своего бездействия. У меня не было вначале определенного плана — писалось от вынужденного безделья и скуки, и только по мере того, как книга писалась, выяснилось, что жизнь моя, отражающаяся в литературных воспоминаниях, отчетливо распадается на три периода. Границей, заключающею первый, юный период, является предпринятое мною в 1896 г. издание журнала „Театр и Искусство“. Затем жизнь моя и работа вступают в определенные берега, и это тянется около 20 лет. Вторым периодом и могла бы закончиться моя литературная биография. Но сначала мировая война, потом революция резко выбивают меня из колеи, и уже в пожилом возрасте, на склоне дней, начинается третий период моей жизни, быть может, самый любопытный, разнообразный и богатый впечатлениями, внезапностями, неожиданностями и даже творчеством.

Таким образом, раз „Литературные воспоминания“, не без благосклонности встреченные читателями, имеют шансы стать в некотором роде моим жизнеописанием; они должны состоять из трех частей, и предлагаемая книга есть только первая часть задуманного. Удастся ли мне написать другие две части — не знаю, хотя мне очень хочется довести этот труд до конца. Но из сказанного явствует, почему о многих людях и явлениях, с которыми я был хорошо знаком и о которых мог бы

многое сказать,—я говорю в этой книге иногда лишь вскользь. Их место дальше, там, где они теснее сплетаются с моей жизнью.

За исключением последних глав, появляющихся в печати впервые, остальные были напечатаны в журнале „Былое“, и перепечатываются в настоящем отдельном издании почти без всяких изменений.

Автор.

Сентябрь 1923 г.

I. Гимназия и университет.

Когда я стал печататься — это, конечно, установить не трудно. Но очень трудно точно сказать, когда я начал писать. Сколько я себя помню, я — марал бумагу своими „сочинениями“. Я так думаю, что сочинять стал со второго класса гимназии, а может быть, и раньше. Всякая прочитанная мною и оставившая сильное впечатление книга заставляла меня немедленно приниматься за сочинительство. Писал я тайком от родителей, и почему-то больше всего стыдился этого. Не потому, что эти упражнения могли бы встретить неодобрение — скорее наоборот. Особенно со стороны матери, в черновых тетрадках которой я, любопытствуя, нашел не мало так называемой „литературы“. Но эти писания казались мне чем-то таким интимным, что обнаружить их было бы для меня все равно, что раздеться при посторонних и ходить нагишом. Поэтому писания свои я прятал под тетрадками и книгами. Запоров и замков в шкафчиках и столах не было, и потому, я уверен, что при инспекторских осмотрах мама наверное находила мои писания и прочитывала их. Но, будучи женщиной чуткой души и понимая стыдливость мою, она ничем знакомства с моими писаниями не обнаруживала. Только иногда, по теплomu и проникновенному взгляду ее чудесных любящих глаз, я мог догадаться, что она знает какую-то мою тайну. Но я молчал. Молчала и она.

О чем я писал? Обо всем. Помню, что писал исторический роман в подражание „Войне и миру“. Писал на листках маленькой тетрадки в $\frac{1}{16}$ долю и начинал почти так же, как у Толстого, с разговоров о войне... Тогда это не казалось странным — такое точное воспроизведение. „Творчество“ почти совпадало с перепискою. Помню, однажды я прочитал в книжке „Русск. Вестн.“ какую-то банальную повестушку, которая произвела на меня сильное впечатление, главным образом, тем, что герой и

героиня приходили к любовному объяснению под грохот бури, грома и шум дождя. Мне страх как это понравилось, т.-е., вероятно, что это так декоративно. Эффект казался мне невообразимо прекрасным, и я немедленно стал писать такую же повесть, т.-е. своими словами изобразил шум дождя, блеск молний и грохот грома, и влюбленных героев, с которых струится вода.

Когда я стал постарше и обратился к другим книжкам, зуд подражательного сочинительства попрежнему не покидал меня. Прочитал „Записки еврея“ Богрова — книгу, небезынтересную с бытовой стороны, но довольно слабую в отношении литературного вкуса, и стал писать нечто вроде этих „Записок“. Прочел статью Белинского о „Горе от ума“, и немедленно написал критическую статью о комедии Грибоедова, где повторил по детски все мысли Белинского.

Еще постарше я стал писать сатиры и памфлеты из жизни родного городка. Тогда я уже осмеливался их читать среди кружка товарищей. Находили, что зло и забавно. Было это, вероятно, очень слабо. Я думаю, что не было, главное, ни капли вкуса в этих писаниях. Моя мечта, моя затаенная мысль, моя тоска были в том, что я должен быть писателем. Сколько я себя помню, — мне рисовались две карьеры: военачальника и стратега, причем я располагал вокруг Мозыря батареи и эскадроны (огромное впечатление произвел на меня том Михайловского-Данилевского „Отечественная война,“ из которого я, кстати сказать, узнал, что в нашем городе стоял корпус Эртеля), и, во-вторых, писателя. Во исполнение первой моей миссии, я, случалось, целыми часами просиживал над кучею стальных перьев, изображавших неприятельские рати, и старался сбить их с позиций искусными фланговыми ударами. Во исполнение второй, я марал бумагу. Почему-то большое впечатление произвел на меня роман Смирновой в „Отеч. Зап.“ — „Соль Земли“. Героя звали Черник. Я засыпал и просыпался с именем Черника, и задумал немедленно такой же роман. Любопытно, что, например, „Губ. Очерки“ Щедрина я читал с удовольствием, но на подражание он меня не вызывал.

Классные сочинения я писал довольно охотно, но увлекался ими редко. Тискал я в них, без разбору, что подвернется. В 5-м классе я, кажется, ввернул что-то из Шапова, да так ловко, что учитель наш, Александр Николаевич Булгак, не догадался, а только нашел, что я обнаруживаю большие способности и даже

с некоторым недоумением принес тетрадку в класс. „Будешь сочинителем“, — сказал он. В 6-м классе я был оставлен на второй год потому, что в экзаменационное сочинение „О пользе книгопечатания“ ввернул что-то из статьи Писарева о папе Иннокентии. Источник моих вдохновенных мыслей не был открыт, но „дурной дух“ был ясен для нашего директора, — С. Н. Фелицына. Кстати, о Писареве. Он был запретный плод, и я глотал его. Казался он мне очаровательным. И странно: не столько мысли Писарева казались мне очаровательными, не столько мирозерцание этого критика пленяло меня — мне даже кажется, что смутно я протестовал против многого и, например, Пушкина я продолжал любить нежнейшею любовью, — а очарователен был для меня задор Писарева, пленительна была смелость его, бойкость. Не то было важно, что он ниспровергает, а то, как он ниспровергает: шапка набекрень, поплеывает сквозь зубы и носком сапога пинает направо и налево. Вот это писатель! Вот это идеал! Вот это литература! Увы, у меня были, как видно, задатки плохого литературного вкуса и неудержимое влечение к фельетонизму. Каюсь. И если я впоследствии — очень впоследствии — от этого в некоторой мере исправился, то это обошлось не без труда и не без ломки моей натуры. В 7-м классе — эх, меня бросало! — я стал читать „Полит. Экон.“ Милля с примечаниями Чернышевского и усердно писал „комментарии“ — воображаю!

Так шли мои школьные годы. Я читал все, и беспорядочно. Я писал все, и так же беспорядочно. Даже пробовал стихотворство. Но это выходило окончательно бездарно. И действительно, версификация мне никак не давалась, — и поднесь я не написал пары приличных стихов. Органическое отсутствие стихотворческого ритма, надо полагать.

„Писательские“ мои способности были известны, разумеется, всей гимназии, и я очень рано стал их эксплуатировать, составляя „заданные сочинения“ за четверку табаку или связку баранок и пару пряников. Случалось, что я ухитрялся одновременно писать 5—6 сочинений на одну и ту же тему, не повторяясь и по возможности разнообразя их. В таком случае я бывал снисходителен, и мог довольствоваться парой баранок или тетрадкой папиросной бумаги. Платили балбесы из купеческих еврейских семейств, лет на 5—6 старше меня. Они-то и прививали мне корысть. Но так как в то же время они были и надувалы, и так как ни выкурить больше табаку, ни съесть

больше баранок, чем положено, невозможно, то эта отрасль натуральных заработков не получила развития.

К концу моего пребывания в гимназии в своих классных сочинениях я уже не прибегал к наивному плагиату. Учитель, Фил. Фил. Адвокатов (черниг. гимназии) похваливал, но находил—и совершенно справедливо—в писаниях моих фельетонизм. Однако укоры эти я не принимал серьезно,—писаревское неглиже с отвагой продолжало казаться мне идеалом возможного для писателя совершенства,—но я просто стал относиться осторожнее и писать сдержаннее. В результате сочинение на экзамене зрелости „Развитие направлений в русской литературе в первой половине XIX столетия“ было признано всем педагогическим синклитом „блестящим“ и, как образец, послано „в округ“. Что я там писал — не помню.

И вот, я отправился в Петербург. Карьера писателя продолжала мне кружить голову. Иногда, правда, проскальзывала и другая соблазнительная мечта—адвокатура. Я защищаю невинно обвиненного, и все дамы, а особенно одна, под черной вуалью, восхищены мною и осыпают цветами. Но эта мечта не задерживалась. Я должен существовать пером. Мне было лет 6, у нас были гости и пили чай, и у меня в памяти остались слова отца, который, положив руку мне на голову, сказал: „Желал бы я, чтобы он написал столько книг, сколько он побил стекло“. Слова эти оставили неизгладимый след. Книг я много в свет не выдал, но написал всякой всячины, точно, много.

Ехал я в Петербург в битком набитом вагоне, в сшитом домашним портным, невероятном попугайско-сером костюме и рыженьком пальтишке. Было мне неполных 18 лет, и жизнь казалась невообразимо прекрасной. Уже за Режицей я познакомился с красивым брюнетом, с прелестной черной бородой,—грузином-скрипачем Караевым, который предложил мне поселиться у его хозяйки. Он снимал комнату в д. № 37 по Б. Подъяческой у каких-то евреев, и говорил, что там найдется комнатка и для меня. Меня встретила толстая, очень толстая еврейка, с мясистым, добродушным лицом, и показала мне свободную комнату. Это была маленькая комнатная щель, у входной двери. Стояла узкая кроватка, и напротив маленький столик, и это создавало такую тесноту, что пробираться между кроватью и столиком можно было только боком. А когда я ложился на кровать, то мог свободно положить ноги на подо-

конник. Но был светлый солнечный августовский день, стоила комнатка 6 р. в месяц, и мне все это, включая толстую хозяйку, показалось превосходным. Караев в соседней комнате уже играл на скрипке, и на душе у меня была музыка. Петербург того времени был, конечно, не тот колоссальный Петербург с 21½ миллионным населением, какой мы знали пред войной и во время войны. В нем в ту пору (1882 г.) числилось только 850.000 жителей. Но он подавлял меня, и когда я попадал в свою комнатку, то терял сразу все расположение духа и легкую свою беззаботность. Мне было первое время страшно—страшно, что вот я, человек, микрокосм, а пропадаю, как песчинка, в этом океане, который меня не знает, которого я не знаю, и в котором совсем нет души. Вот именно это противоположение давило меня. Ни в Мозыре, ни в Чернигове, ни даже в Киеве, где я бывал раза два,—этого противоположения бездушности города и моей маленькой одушевленной личности я не испытывал. Но в Петербурге я долгое время не мог отделаться от этого ужасного впечатления одиночества на улице — пока лица, дома, магазины не примелькались, и не стали как будто новыми знакомыми.

Университет, товарищи, новые и старые, которых я встретил (среди них, земляк мой, одноклассник, сын священника Мозырского уезда, Митрофан Корженевский), лекции, профессора, сходки—все это первое время совершенно заглушило писательский зуд. Я перестал быть писателем и бумагомаракою, и стал студентом. Конечно, достал плэд и толстую палку, и чувствовал себя необыкновенно гордо, когда вознесенские феи говорили на улице: „студент, одолжите папироску!“ Факультет в то время был, действительно, блестящий, хотя старые студенты говорили: „Ну какой же теперь это факультет? Вот два, или три, или четыре года назад был факультет так факультет!“ Однако, читали Сергеевич, Градовский, Янсон, Коркунов. Политическую экономию—само собою, самый важный для передового студента предмет—читал толстый Вреден, про которого острили, что он не столько вреден, сколько совершенно бесполезен. Это был веселый бонвиван, и если нужно было создать живое олицетворение буржуазного экономизма, спокойного, всем довольного и твердо убежденного в нескончаемости *juste milieu*, то конечно, это был Вреден. Его книга, курс его, была написана ужасным языком. Фразы, вроде „лучи света, разбиваясь о бытовую ограду современности, освещают политико-

экономические задачи“, и т. п.—пестрели на каждой странице. Частенько даже нельзя было понять, что он хочет сказать. Но лектор Вреден был занятный. Он рассказывал анекдоты об акционерных обществах, о великих финансистах, о том, что директор учетного банка, Зак, играет на скрипке, и о том, что газеты надо читать не с первой, а с последней страницы, где объявления, так как там настоящая жизнь. Он был неглуп, может быть, даже умен, и во всяком случае в обстановке всеобщего сильного подозрения, в котором держалась университетская наука, а, в особенности, такая заведомо неблагонадежная, как политическая экономия, съумел своим жманфизмом и легкомыслием избрать самую благую часть.

Талантливым и наиболее увлекательным для молодежи лектором был Коркунов, читавший энциклопедию права. Тогда он еще доцентствовал. Он читал лучше, чем писал. У него не было „бытовых оград современности“ à la Вреден, зато было щегольство архи-ученой терминологией, что вполне извинительно, впрочем, для молодых ученых, которые „хочут свою образованность показать“. Напечатанные его лекции совершенно не считались с тем, что их будут изучать вчерашние гимназисты, да еще толстовской гимназии, вытравившей всякий философский дух и всякую склонность к умозрительному мышлению. Я был подготовлен своим, хотя беспорядочным, но все же усердным чтением и жадностью своего восприимчивого ума более других, однако, и мне приходилось потеть над лекциями Коркунова. Большинство же просто заучивало философскую экзегезу идей права наизусть и попугайски повторяло слова, не вникая в их смысл. В устном чтении Коркунова исчезал в значительной мере дух дешевого и скороспелого приват-доцентского гелертерства, да кроме того, у Коркунова была горячность, отсюда живая, убедительная интонация, часто раскрывавшая значение его речи. У него была маленькая смешная, огненно-рыжая бородка, которая как-то особенно убедительно тряслась, когда ему хотелось что-нибудь доказать. Во всяком случае, его я слушал усердно. Сергеевич, Вас. Ив., был известен, как замечательный ученый,—т.-е. у студентов это была установленная репутация,—тем более, что в сочинении своем „Вече и Князь“ он осторожно проводил идею народоправства. А это уже был патент на непоколебимую репутацию, так же, как и то, что А. Д. Градовский сотрудничал в „Голосе“ и был известный поклонник

конституционализма. Я не хочу умалять заслуги ни того, ни другого. Оба были, действительно, хорошими профессорами, известными, талантливыми исследователями, безупречными общественными деятелями. Но я говорю лишь о том камертоне, по которому строилась вся русская жизнь. Теперь, когда измеряешь усталым взором всю глубину исторических событий, явственнее видишь далекие корни и нити происходящего.

Читал еще историю римского права Ефимов,—тоже доцент, совершенно незначительная личность. Никто его не слушал. И я часто думаю: какова пленительная гармония римского права, этой несравненной умственной и моральной дисциплины древнего мира, что, даже при таком преподавании, наука эта была любимейшей для моей юношеской мысли!

Итак, временно я забыл о литературе и предался науке. Читал Мэна, Фюстель де Куланжа „La cité antique“ и Альфреда Фулье—„О свободе воли“—для Коркунова. Знал я по-французски, что знают обыкновенно гимназисты, даже из числа преуспевающих. Для того, чтобы понять Фулье, я принялся за Поль де Кока. Прочитав романы его „Бельвильскую девственницу“, „Gaston le mauvais sujet“ и „Une grappe de groseille“,—я настолько, что называется, „насобачился“ (ибо преимущество Поль де Кока пред другими авторами для изучения французского языка заключается в том, что его можно и должно читать без словаря, не обременяя себя), что смог кое-как одолеть и Фулье, и написать даже реферат по сему поводу. Сколько помню, Фулье, будучи детерминистом, пытался „примирить“ его с внутренним убеждением в существовании „свободы воли“. Поэтому он построил теорию „свободы в выборе мотивов поведения“. Коркунову эта теория представлялась чрезвычайно занятой и удовлетворительной. В сущности, это теория довольно наивная—вроде „не вмер Данила, а болячка задавила“. Я теперь уже не помню всей цепи хитроумных сплетений Фулье, которыми он подпирал свою теорию, но в реферате я ее изложил довольно добросовестно, хотя и вступая изредка в полемику. Особенный полемический выпад сделал я по поводу его ссылок на диалоги Ренана, где этот мудрейший человек проповедует (кажется, в „Калибане“) идею аристократической олигархии. В качестве обязательного демократа 18-летнего возраста, я, что называется, разделал Ренана „под орех“. И тут Кор-

кунов молвил одно слово, за которое я ему глубоко благодарен, ибо с тех пор, быть может, у меня начался упорный процесс обратного размышления. Коркунов сказал: „Вот вы говорите, полное равенство и т. п. Однако, ведь вы не сядете за обеденный стол с ассенизатором, который г—о чистил“. Бывает так, что и слово-то не бог весть какое умное, а ударит по темени. Так меня это слово ударило. Вообще, значение слов, создающих нередко поворотный пункт в умственной жизни, крайне загадочно. Например, я был очень богомольным и религиозным мальчиком, когда однажды на слова мои „бог накажет“ выслушал от товарища гимназиста ответ: „Поди ты к чорту со своим богом“. Он выразился еще грубее. И с тех пор моя религиозность дала трещину. У меня появились материалистические мысли, надолго заседавшие мне в голову, — до тех пор, пока умудренная жизнь не стала формировать иного миропонимания и убеждения в том, что истина есть понятие трансцендентальное.

II. Первые дебюты.—«Стрекоза».

Дни шли за днями. Обычные студенческие дни. Утром университет с его шумною жизнью, сосредоточенною не столько в аудиториях, сколько в шинельной и буфете с читальной залой. Хожение на чаепитие к товарищам и к курсисткам, жившим на Кавалергардской улице — прогуляйтесь! Конечно, опера—в то время итальянская—и дежурства за галерочными билетами. Я тут должен сделать признание, весьма, быть может, неожиданное для тех, кто привык считать меня театралом—драматическим критиком по преимуществу, что в драматический театр в первый год своего студенчества я не ходил, а посещал оперу. В Александринском театре за целый год был, кажется, единственно на „Ревизоре“. Хлестакова играл Петипа, и это единственный, кого я запомнил, и то, как я теперь понимаю, потому, что меня поразили необыкновенные штаны Хлестакова-Петипа—канареечного цвета и совсем невиданного мною покроя. Отсюда мораль: не надо верить в особую врожденность вкусов — вкусы и влечения воспитываются. По бессознательному влечению, я должен был бы стать ком-примарио в опере (голосок у меня был) или во всяком случае музыкальным рецензентом. А вышло иное.

Вскоре, однако, первые бурные впечатления студенчества улеглись. Когда Сергеевич, открывая курс истории русского права, начал свою лекцию обращением: „милостивые государи“, мне показалось, что небеса разверзлись предо мною, и я вкушал — буквально вкушал — каждый раз это радостное и почетное обращение. Но постепенно вошли в привычку и „милостивые государи“, и лекции. Мэн остался недочитанным. Боюсь, что Фюстель де Куланж — тоже. Легкая восприимчивость, переменчивость, живость нрава, то, что называется „импрессионизмом“, слишком владели мной и роковым образом толкали меня на ту стезю, которая должна была

стать стезей, увы, едва ли достаточно удовлетворившей меня жизни — на стезю журнализма. Бумагомарание опять стало любимым занятием моих ночных досугов в крохотной моей комнатке. Я сидел на кровати, а бумага лежала на столе, и я марал. Собственно, марал без всякого определенного плана. Почему-то я стал увлекаться юмористическими журналами, и верхом литературного блеска мне казались „Стрекоза“, а затем журнал Лейкина „Осколки“. Я думаю, что это не моя только слабость и не только мой личный конфуз. Как известно, со „Стрекозы“ началась литературная деятельность Чехова, а И. Ф. Василевский (Буква) мне как-то рассказывал, что и первые опыты М. Горького появились также у него в журнале. Очевидно, есть какой-то закон возраста, когда тянет на бабочку: с сачком в поле и с пером в литературе. Эти юмористические журналы представлялись прехорошенькими бабочками. Притом это особенная литература — страшно коротенькая. Что-то блеснет, зафиксируешь — оно и готово. Среди сотрудников юмористических журналов у меня был свой герой, если хотите, идеал. Это был некто, подписывавшийся И. Грэк. Только через много лет я узнал, что это был псевдоним В. В. Билибина. С Билибиным я был впоследствии в хороших отношениях и очень любил его. Но литературным героем его уже не считал, хотя, несомненно, он был человек талантливый. Я думаю, ему мешало больше развернуться то, что литература не была его единственной деятельностью: он занимал какой-то довольно ответственный пост в почтамте. Увы, что может быть прозаичнее? И это особенно было бы невероятно для меня в то время, когда я мечтал об И. Грэке, как о славном, непременно задумчивом, непременно брюнетистом (с матовым цветом лица) писателе. Иногда я вглядывался на улице во все живописные лица и думал про себя: вот это И. Грэк! А И. Грэк сидел в это время в почтамте, пробегая своими светло-голубыми глазами разные пост-пакеты. И нос у Билибина был, как говорится у Гоголя, самый обыкновенный нос, и при этом с краснотой...

Бывало, сидишь пред листом бумаги и придумываешь разные каламбуры или яко-бы сентенции и афоризмы и юморески, или что-нибудь пародическое. Например, антитезы à la Виктор Гюго: „Чорт и ангел! Рай и ад! Зубной врач и мозольный оператор!“ И т. п. Я решительно теперь не помню, какие такие

замечательные строки сочинил я и отправил по почте в редакцию „Стрекозы“... Я затерял, вообще, девять десятых своих писаний, разбросанных по разным изданиям. Подписался я М. О. Зырянин. Это мне казалось, по меньшей мере, столь же остроумным, как И. Грэк, и столь же каламбуристым. Выходила „Стрекоза“ по субботам. Помню осенний сыкатный вечер, когда я пересохшим языком спросил у газетчика на углу Вознесенского и Екатерингофского № „Стрекозы“, уплатив 20 коп. из тощего своего кошелька. И когда я развернул № у газового фонаря, и увидел на 3 или 4 странице часть своих „мыслей“ или „афоризмов“, подписанных „МОЗ“, то буквы, поистине, запрыгали у меня перед глазами.

Было это в октябре 1882 г.

Я долго лежал на кровати, обдумывая это невероятное и торжественное событие в моей жизни. Я забыл сказать, что к этому времени хозяйка моя переехала на другую квартиру, на Вознесенский пр., и комната у меня была на 1^{1/2} руб. дороже и значительно лучше. Хозяйка моя была очень добрая женщина и иногда прибегала к весьма оригинальной форме помощи. Я держал свои деньги в ящике комода, который никогда не запирался. И вот, случилось, ищу я каких-нибудь 3 пятака, которые, по моему расчету, у меня еще остались, и на которые можно купить фунт хлеба и две сосиски, и вдруг нахожу пятиалтынный, сверх пятаков, или двугривенный. Зная свою беспорядочность, я долгое время радовался этим сюрпризным находкам и отправлялся обедать к Шеметову в кухмистерскую, где за 30 коп. давали два блюда, и, как *hors d'oeuvre*, сколько угодно редьки, красовавшейся на столе. Но когда, однажды, тщательно обыскав ящик и выбрав все содержимое, я все-таки нашел на следующий день, кроме своего пятака, еще и пятиалтынный, — я и сконфузился, и разозлился, и пошел объясняться с хозяйкой. Она опустила глаза и упорно отрекалась, но я раз навсегда — о, я был дьявольски горд! — попросил ее больше не разыгрывать роли доброй феи. Она была, кстати, очень небогата, схоронила старика-мужа, и целые дни бегала по кредиторам покойного, стараясь получить что-нибудь из старых долгов. В общем это была добрая душа, но ясно, что с ней говорить о литературной карьере я не мог. Единственный человек, которому я мог бы сказать это и выслушать



в ответ то, что, казалось, мне было необходимо, — был Корженевский. Он жил в коллегии Полякова при университете, и это было чертовски далеко. Притом я не любил коллегии. Незадолго до этого в университете был ряд сходок и демонстраций по поводу этой коллегии, и я в них тоже участвовал, и когда приехал градоначальник Грессер и стал нас уговаривать разойтись, то, разумеется, я не ушел, а слушал с восторгом речь М. Л. Мандельштама (впоследствии известного присяжного поверенного и члена кадетской партии), произнесенную им с высоты вешалок в шинельной. Потом я вместе с другими был отведен в манеж Павловского училища и пр., и хотя я не пострадал, ибо явно держал себя не как демонстрант, знающий, из-за чего он демонстрирует, а как сущий дурак, но мне было все это неприятно, включая коллегию. Тем не менее, после двухчасового восторженного лежания на кровати, я отправился на Васильевский остров, захватив с собой, разумеется, драгоценнейший, исторический № „Стрекозы“. Я застал Корженевского за лекциями по минералогии, и, повидимому, не в очень хорошем настроении, так что минут 10 я не решался заговорить с ним. Наконец, решившись, вытащил скомканный лист, и, прокашлявшись от смущения, протянул Корженевскому: „А тут, Митрофан, — сказал я, — есть мое“...

Митрофан вонзил в меня свои злые, черные глаза и молвил: „Ну, ну, давай“... Затем прочитал. По-моему, он ни разу не улыбнулся. О, жалкий жребий юмориста! Сердце у меня похолодело. — „Ну, что-же, валяй“, — сказал он по прочтении. — „Когда за гонораром?“ О гонораре я забыл, хотя при моих финансах (рублей 20—25 в месяц, получавшихся с трудом из дому) — это был вопрос очень важный. Поискав в журнале, — узнал, что редактор принимает по средам на Николаевской ул. Должно быть, и гонорар там же платят. Строк было напечатано 40 или около того. Ежели в каждом № хотя по 40 строк, то выйдет рублей 8—9 в месяц, и это значительно улучшало финансовое положение.

— Я тебе говорил, дурак, что напрасно не хлопотал о стипендии, — сказал внушительно Митрофан. — Ну, пиши, чорт с тобой!...

Поощрение было не особенно замечательное, так что из-за отсутствия должного консонанса я скоро ушел, тем более, что до смерти хотелось творить, творить, творить... Было

сочинено еще несколько „афоризмов“ и „сентенций“, — между прочим, помню такую мысль, достойную Лябрюера и Лярошфуко: „Наряд — оружие женщины. Поэтому побежденная женщина слагает свое оружие“. Затем была написана пародия на новую „психологическую“ манеру Максима Белинского, начинавшаяся так: „У него где-то что-то внутри стукнуло. Вынув из стола что-то гладкое и холодное, он приставил его к виску. Что-то в нем и вне его не давало чему-то покоя“. И т. д. Все это сочинялось, перемарывалось, дегустировалось на тысячу ладов, переписывалось с субботы до самой среды. В среду я отправился на Николаевскую, в редакцию „Стрекозы“. Было часов пять хмурого осеннего дня. Я шел и ни о чем не думал. То, что предстояло, было так огромно, что и мыслей нельзя было собрать. Сейчас не помню я ни дома, ни входа. Кажется, что помещение было в первом этаже. Зато хорошо помню, что вывеска редакции и конторы была маленькая, фасад же был занят вывескою: „Фабрика каучуковых штемпелей Г. Корнфельда“. Что Герман Корнфельд был издателем „Стрекозы“ — это я знал, но что вместе с тем юмористика состояла не только в тесной связи, но и в тесном подчинении у каучуковых штемпелей — это я узнал, лишь когда вступил в редакционное святилище. Корридоры и целый ряд комнат были уставлены кипами клише, какими-то тюками и т. п. Свет еще не зажегся, и в полу-темной редакционной комнате, куда меня ввели, я заметил у окна двух собеседников: одного сухощавого, среднего роста, с рыжеватыми усами, и другого — низенького, с длинными выющимися волосами. Разговор у них шел бойкий и оживленный. Было совершенно ясно, что низенький, с длинными волосами, был сам Василевский, несравненный Буква, король остроумия, и другой, очевидно, какой-то сотрудник, а может быть, просто знакомый редактора. Разговор длился довольно долго, так что я имел достаточно времени, чтобы оглянуться. Но было досадно, что не давали света. Несколько раз в дверях появлялся невысокого роста господин, „седой наружности“, грузно и нескладно ступавший и усердно покашливавший. Однажды он сказал не то с немецким, не то с еврейским акцентом: „Ну, что же, Ипполит Федорович?“ Но ответа не последовало, и седоватый господин исчез во внутренних аппаратах. Наконец, собеседники стали прощаться. Наступил критический момент: сейчас ко мне подойдет низенький чело-

век с длинными волосами, сам Буква, и скажет: „Это вы М. О. Зырянин? Давно жду знакомства с вами!“ И вот первое разочарование: низенький господин с длинными волосами, нахлобучив мягкую, поярковую, настоящую литераторскую шляпу, вышел, а ко мне подошел аккуратно подстриженный сухошавый человек, с острыми глазами и слегка вьющимися рыжеватыми усами. И я сразу почувствовал тоску. Что я говорил — не помню. Что говорил Василевский — тоже не помню. Кажется, говорил, чтобы относил материал на Офицерскую, к нему на квартиру. Разговор длился ровно $1\frac{1}{2}$ минуты. Он боком сунул мне руку, уже полуотвернувшись, и я явственно услышал: „7 коп. за строку“. Правда, столь замечательный гонорар превышал все мои ожидания. „Сколько же получает Эмиль Пуп?“ — мелькнуло у меня в голове. Эмиль Пуп был мой любимый поэт из „Стрекозы“ — образ почти столь же величественный и загадочный, как и И. Грэк. Однако, несмотря на ожидающее богатство, на душе у меня было тоскливо. Вышел пожилой человек и снова спросил: „Ну, что же, Ипполит Федорович?“ „Сейчас, Герман Карлович!“ Это был сам издатель. Герман Карлович поднял с пола тучок с каучуковыми штемпелями, сдунул пыль и крикнул: „Грише! Грише! увозьте это! Что такое за безобразие!“ Я еще подождал, и когда Герман Карлович снова появился на пороге, он посмотрел на меня через очки и сказал: „Хотите гонорар?“ „Хочу“, — ответил я. „Заходите!“ Я зашел в другую комнату, где стоял большой конторский стол. Герман Карлович вынул толстую книгу, долго записывал мою фамилию, потом вынул №, посмотрел на синюю карандашную надпись и, заставив меня расписаться в книге (рука у меня шибко при этом дрожала), вручил 3 р. 64 к. Я затерял свою записную книжку, где был записан этот мой первый гонорар. Какое самое сильное впечатление было в моей жизни? Первый поцелуй или первый гонорар?

На завтра я отнес на Офицерскую новые свои „произведения“, которые и появились в 2-х №№, и Герман Карлович выдал мне уже 7 р. 56 к. Вообще, дела шли превосходно. В большом доме Лихачева по Вознесенскому пр. уг. Екатерингофского, битком набитом студентами, я уже имел солидную репутацию литератора. Мои литературные планы ширились. Я мечтал уже о некоторой юмористической энциклопедии. Но тут случилось несчастье...

На склоне дней, когда дьявол уже не может больше грешить и поневоле становится отшельником, — вообще, критически относишься к своей особе. И теперь, после того, как мною столько написано, елишком написано, — еже писах — переписах, — я вижу, как много было в моем умонаклонении хитро-сплетенного и единственно к формальной цели направленного остроумничания. По мере сил я старался от него избавиться, но избавился ли? Тогда это умонаклонение было господствующим. Я прочитал статью о Гартмане и его „Философии бессознательного“, которая тогда была в большой моде и еще совсем внове, и пленился известным его афоризмом: „Das Nichtsein ist besser als das Sein“ — „небытие лучше бытия“. Кстати сказать, эта мысль проще и поэтичнее выражена в „Эдипе“ Софокла: „Лучше совсем не родиться, а кто родился — тому скорей умереть“. Но и Гартману, и его афоризму повезло — это была тема дня. И вот, я, понатужившись, засел за юмористическую философистику на мотив этого афоризма. Мне это, якобы юмористическое, перевертывание казалось необыкновенно остроумным и глубоким, и считал я это свое „произведение“ удачей из всего, что я написал. Отнес и стал дожидаться следующего № „Стрекозы“. И вот, представьте мой ужас, когда я, вместо напечатания этой „юморески“, нашел в „Почтовом ящике“ следующие слова: „Примите касторового масла вместо гонорара“...

Это была катастрофа и, быть может, почтенному И. Ф. Василевскому, который так обязательно поднес мне касторового масла, даже на ум не могло притти, какое это имело на меня огромное влияние. Начать с того, что, будучи от природы очень стыдливым и самолюбивым, я долгие годы носил, так сказать, в сердце открытую рану и как-то спрятался. Я боялся выступать. Я и сейчас — смешно сказать! — на незнакомом месте чувствую себя, как дебютант. Я стал избегать редакций, я возненавидел юмористические журналы, я боялся генералов от литературы, и по сей день мне все кажется, что они могут посмотреть на меня сверху вниз, и тогда старая обида загорается в душе, и полузаживший рубец от раны краснеет и наполняется кровью. Среди разных других причин, заставивших меня долгое время скитаться по более или менее сомнительным литературным захолюстьям и углам, — воспоминание об этом грубом ударе хлыста по юношескому моему самолюбию играло, я убежден, не последнюю роль.

Первая моя мысль была о том, не прочитали ли все мои товарищи и знакомые о роковом предложении касторового масла. Дня два я никуда не показывался. Потом рискнул. К счастью, кажется, никто не прочитал „Почтового ящика“, а и прочитал, так не обратил внимания. С этой стороны я успокоился, но литературным упражнениям моим пришел конец. Я не писал ничего почти год, т. е., может быть, для себя что-нибудь царапал, но даже и не помышлял о том, чтобы печататься. Снова окунулся и с головой ушел в студенческую жизнь, готовился к экзамену, летом уехал к себе на родину, и все время путался с бродячей труппой актеров, игравших в Мозыре. Я играл самые неподходящие и невероятные роли: Золотова в „Горькой судьбине“, Шпигельберга в „Разбойниках“, Акульку в „Горькой судьбине“, пел куплеты из „Маскотты“ — вообще, помогал этим потерянными, но милыми созданиям, чем мог. Играл я, вероятно, скверно, но так как все кругом было так же скверно, то я не выделялся в худую сторону. Но литературу, писание — к чорту, к чорту, в шапку, в подкладку.

Совершенно не могу припомнить, каким образом и по чьей инициативе я вдруг стал петербургским фельетонистом екатеринославской газеты „Днепр“. Я начал в ней сотрудничать зимой 1883 г. Во главе газеты стоял Г. И. Шрейдер, впоследствии известный соц.-революционер, политический эмигрант, бывший до октябрьского переворота во время революции петербургским городским головой. Издателем газеты состоял некто Беляев, присяжный поверенный. В числе сотрудников был Ганейзер и др. Газета была направленская и бойкая, и выходила, кажется, 3 раза в неделю. Так как главное управление по делам печати очень быстро заметило в газете „душок“, то оно придумало весьма любопытную меру „пресечения зла“: именно цензурование газеты, издававшейся в Екатеринославе, было передано в Москву! Газета, естественно, скоро захирела...

Я думаю, что меня отрекомендовал редакции „Днепра“ кто-нибудь из екатеринославских студентов; их была целая куча в знаменитом доме Лихачева, и, хотя я в то время жил уже на Измайловском проспекте, у немки, имевшей модный магазин (ход через кухню, 7 р. в месяц), но частенько посещал эту компанию. Иначе я не могу себе объяснить происхождение моего сотрудничества. С Г. И. Шрейдером я так и не

имел за всю жизнь случая познакомиться, а с Ганейзером, кажется, познакомился в начале девятисотых годов. Но у меня, помню, было письмо на редакционном бланке, с приглашением сотрудничества и с разными редакционными desiderata. Гонорар был мне назначен 2 коп. со строки. Я писал раз в неделю фельетоны, а иногда и корреспонденции, и подписывался „Аэрка“. Должно быть, писания мои нравились, потому что я получил еще одно письмо от редакции. Писал я страстно и либерально — обо всем: о крестьянском и дворянском банке, о театрах, в которых я не бывал, о совмещавших сенаторах, которых не видывал, о постройке Сенного рынка и муниципальных скандалах, по газетным сведениям, и т. п. Вероятно, это было вполне по вкусу провинциального читателя того времени. Конечно, я любил писать и писал охотно. Но гонорара, увы, не получал, хотя позволял себе неоднократно напоминать об оном. Дела мои были совсем финансовые. Отцу я врал из самолюбия, что „существую литературою“, да и обстоятельства у него были тяжелые; жил же я на стипендию в 15 р. в месяц, да иной раз на урочишке перепадет что-нибудь. Я обедал — блестящий обличитель сенаторов и петербургского городского головы, Аэрка — за 8 коп. в студенческой кухмистерской на 16 линии, и оттуда пер пешком каждодневно к себе домой, на Измайловский проспект! А гонорара все не было и не было. И вот, однажды, утром — дело было на масленице, чуть ли не в субботу — я получил сообщение, что приехал издатель газеты, Беляев, и просит меня зайти. Я подсчитал, что мне следует — сумма была чудовищная — 128 рублей! Встал я спозаранку, побрился на последний пятиалтынный и отправился. Беляев остановился в каких-то меблированных комнатах. Это был субъект с круглой, небольшой, рыжей бородкой, довольно сухого вида и быстро бегающими глазами. Он меня поблагодарил за сотрудничество в газете, которая, увы, должна кончиться, или кончилась, и намекнул на большие убытки. „Вам сколько следует?“ — спросил он. Я ответил. „Гм!“ — сказал он, не глядя на меня. — „У нас такие затруднения. Вот, позвольте мне предложить вам 50 рублей“. Пятьдесят рублей! Это, разумеется, не была Голконда в 128 рублей, но это были 50 рублей! Я взял деньги, не в силах скрыть радости. Беляев скользнул по мне холодно-проницательным взглядом и, вероятно, подумал: „Эк я дурака сваял, довольно было бы с него и четвертной“.

С пятьюдесятью рублями я вышел на праздничную улицу. Чирикали воробы, прыгая по талому снегу, сверкало солнышко, носились вейки, позвякивая бубенцами. Я не знал, что мне делать со своим богатством. Тут я увидел трактир и людей в поддевках, которые ели блины. Я никогда не едал блинов в трактире. Мигом я очутился в заведении и спросил порцию блинов, с маслом, сметаной и сметками, за 75 копеек! И когда я вышел из трактира, то понял, что жизнь полна многих, еще неизвестных мне радостей, до которых, может быть, когда-нибудь дойдет мой черед.

III. Сотрудничество под маской. — «С.-Пет. Ведомости» В. Г. Авсеенка.

При всем том, мой, если можно выразиться, „успех“ в газете „Днепр“ стоит совершенно особняком: он ни на волос не придвинул меня к журналистике и нисколько не отучил ни от дикой застенчивости, ни от чрезвычайного страха. Это было спорадическое, так сказать, сотрудничество. Если память мне не изменяет, на следующий, кажется, год я поместил статью в газете „Новости“, но этой статьей, кажется, мое сотрудничество в „Новостях“ и ограничилось и, мне думается, что, несмотря на нужду в деньгах, я не получал за нее гонорара, т.-е. не рискнул отправиться в контору. Статью я написал по поводу книжки Скальковского „О женщинах“, изданную им под псевдонимом „Вопросительный Знак“. Статья моя, преисполненная самого горячего полемического задора, так и называлась — „Об одном вопросительном знаке“. К *resistance* и эпикурейщине Скальковского я отнесся, конечно, как подобало благородному молодому интеллигенту, и кистил автора, что есть мочи. Статья начиналась, помню, латинским изречением „*Habent sua fata libelli*“, и была, вероятно, так же банальна, как и вступительная цитата. И это, может быть, и было главной причиной того, что статья понравилась О. К. Нотовичу. О. К. Нотовича я потом встречал довольно часто и знал довольно хорошо. Его „восьмистолбцовый“, как язвило „Новое Время“, газете не хватало многого, но мне думается, главное — не хватало ума, и либерализм ее был самого умеренного образца. Говорили, будто, закрыв „Голос“, Д. А. Толстой всячески мирвоил Нотовичу, так как-де находил, что „маркиз О'Квич“, как подписана была книжка последнего „Немножко философии“, переведенная кем-то на французский язык и названная в библиографическом отделе „*Journal des Débats*“ „*un oeuvre bien étrange*“ — есть такой паладин либерализма, который наилучше способен погубить его. Будто бы,

глядя на редакцию „Новостей“, из окна министерской квартиры (на Мойке—редакция „Новостей“ помещалась в длинном одноэтажном, с подвалом, доме, существующем и поныне), всесильный министр говорил окружающим: „Посмотрите, вот мой противник: дурак, жид и либерал“. Я думаю, конечно, что это motto сочинили недоброжелатели О'Квича. О. К. Нотович, в сущности, был не дурной и не лишенный образования человек. Но он страдал не то сомнением, не то каким-то водевильным эгоцентризмом. Кто-то из сотрудников прозвал его не без меткости—„Я сам“. Я узнал О. К. Нотовича довольно близко в 1900 или в 1901 г., и меня поразило, при всей его доброте (он мне оказал небольшую, по тому времени, однако, для меня ценную услугу) и даже при несомненной правильности суждений, какой-то дурной тон, насквозь его проникавший. Я бы сказал, что он был лишен такта и притом очень развязен. Газета же была „сера“ и серостью своей искупала свой либерализм. Он не умел подать газетного блюда, и кроме того был плохой полемист, чем бессовестно, надо сознаться, пользовалось „Новое Время“. Буренин еженедельно изошрял над бедным Нотовичем свое остроумие. Что он писал! То он изображал его владельцем кассы ссуд, то сидящим в „микве“ и кладущим „Новости“ „под стегно“ талмудистом. То он писал по поводу переделки „Misérables“ Нотовичем в пьесу: „Гюго и Нотович! Величественный океан поэзии и грязная капля миквенной воды! Монблан романтизма, и маленькая ничтожная луковица у его подножия“. Самое глупое в поведении Нотовича было то, что он не молчал, а неудачно отругивался; он совершенно не умел с достоинством держать себя. Так, например, ему очень хотелось, когда, на горе себе, он пустился в драматургию, чтобы об его пьесах были заметки в „Новом Времени“. Написав пьесу „Дочь“, он немедленно через одного из сотрудников послал об этом заметку в „Новое Время“. Старик Суворин очень обязательно исполнил желание Нотовича, заметка была напечатана, но, к сожалению, вкралась досадная опечатка: было напечатано, что О. К. Нотович написал новую пьесу „Дичь“. Как молодой пикадор, я впоследствии долгое время привязывался к Нотовичу и изо всех сил дразнил его. Даже к бородавке его,—действительно, странной, украшавшей центр его лба,—я приставал. Стыдно вспоминать... Но клокотал темперамент, и чорт знает на что уходил!

О Нотовиче мне еще придется, надеюсь, вспомнить. Сейчас я сделал невольно это отступление, увлекшись в сторону. Хотел же я сказать, описывая добросовестно свою газетную карьеру и подготавливая объяснение дальнейших своих зигзагов, что вот был, как будто, случай напасть на линию. Статья была напечатана, видимо, понравилась—почему бы Нотовичу не поощрить неизвестного молодого автора, авось бы толк вышел! Но поощрения не было. Меня в редакцию не звали, а я, подавно, боялся и нос туда показывать. Так это дело и замерло.

Несколько месяцев, кроме разных брульонов для себя, я ничего не писал. Не писал бы, может быть, и очень долго, если бы не случай. У меня был земляк студент К., человек столь же назойливый, бесцеремонный и храбрый „безумством храбрых“, сколь я был застенчив и стыдлив. Он успел втереться в разные редакции, и, между прочим, в „Петерб. Газ.“, где ему иногда поручали маленькие отчеты о разных „собраниях“. Писать он был не мастер—вернее, совсем не умел писать. И вот, в один прекрасный день он мне предложил исполу работать в „Пет. Газ.“ Он-де будет ходить по собраниям, а я буду излагать его „впечатления“ и заметки, а гонорар—5 коп.—пополам, по 2¹/₂ коп. за строку. Предложение мне очень понравилось; это было как раз то, что нужно. Деньги требовались до-зарезу, знать меня никто не знал, К. будет бегать, а я только стану заниматься „письменной работой“. Так и пошло. Часов в 10—11 вечера, а то в 4—5 дня ко мне забегал К. с ворохом записок, а я, не устаивая даже выслушать его до конца, тут же, походя, писал и придавал „литературную форму“. „Литературная форма“, видимо, нравилась, потому что заказы К. из редакции так и сыпались, и на мою долю приходилось в иную неделю руб. 15, что представляло уже, так сказать, капитал и давало возможность существовать совсем безбедно. К. знал вкусы редакции и давал свои указания, которым я безропотно следовал: в описания выставок или торжеств следовало непременно вставлять фразу: „В публике было много хорошеньких дам“ или „Среди многочисленной публики выделялся ряд хорошеньких и нарядных дам“. Редактор, повидимому, был аматер по дамской части. Бывало, увлечешься описанием какой-нибудь кустарной выставки, которой, конечно, и в глаза не видел, размахнешься, закончишь каким-нибудь хлестким афоризмом, да так и сдашь. К. на ходу

набрасывает пальто и мчится, но вдруг возвращается: „Эх, А. Р.,—что же вы, про, „в числе которых было много хороших дам“, не поставили? И две строчки лишку, да и звучит для конца красиво!“

Однажды—то было раннею весной—к концу экзаменов, К. явился торжественнее обыкновенного, и, потирая руки, как он делывал в случаях волнения, сказал мне: „Худекову так нравится моя работа (я так смирился духом, что даже не обратил внимания на то, что К. считал писание в газете своей работой), что он предложил мне написать ряд очерков о Вяземской Лавре. По 6 коп., батенька, и строчек можно валять в каждом очерке по 300—400. Так вот, батенька, давайте! У меня и редакционное удостоверение припасено“. И он показал мне редакционный бланк, на котором значилось, что такой-то (имя рек) командирован для осмотра так называемой Вяземской Лавры. „А как же я-то пойду? У меня нет удостоверения!“—„Пустяки“,—решил К.,—„я вас выдам за своего секретаря“.

„Вяземская Лавра“—нынче многие даже название это забыли—был громадный старый, с флигелями и пристройками, дом на Садовой близ Забалканского (где нынче новые шестиэтажные дома), представлявший настоящее „дно Петербурга“. Сенной рынок еще к тому времени только строился, поэтому огромная „Лавра“ была соединением парижских „Halles Centrales“, с их подземной жизнью, хулиганством, сутенерством и т. п., и петербургских трущоб доброго старого времени. Полиция давно махнула рукой на Лавру. Только бы не очень дебоширили и вопиющих безобразий не делали. Может быть, конечно, тут было и своего рода „сотрудничество“, или официальное непротивление злу. Но несомненно, что Вяземская Лавра была самым любопытным, самым оригинальным углом старого Петербурга. Тут жили пропойцы, отставные чиновники, мелкие закладчики, фабрикантши ангелов, безработные, сутенеры, специалисты по мелким кражам, почему-либо потерявшие клиентов, дешевые проститутки, котиrowавшиеся не выше полтинника, селедочницы, татары-старьевщики, зеленщики, ярославские мальчишки, приехавшие в Питер делать карьеру, и пр. и пр. Тут была своя аристократия, своя иерархия, свои социальные классы, своя борьба „за освобождение труда“—вообще все свое, как в жизни, но через призму Вяземской Лавры. Бесконечные коридоры и лестницы напоминали средневековые. Газовый

рожек, а чаще керосиновый ночник тускло освещал целые кварталы нищеты и порока. Нас встретил управляющий домом, которому К. отрекомендовал меня быстро и решительно: „Александр Романович (?)—мой секретарь“. Я не протестовал ни против Романовича, ни против титула. Управляющий был хитрейший мужчина—это я даже при своей тогдашней юношеской неопытности и тогдашнем молокососстве заметил. С полицией он ладил, надо было и с прессой поладить. Вероятно, охотно сунул бы что-нибудь в руку, но К. был слишком юрок, а я—слишком глуп. Он не решался, и осторожно пробовал почву. Показал кое-что, но не самое неказистое. Когда же я ему сказал, что-де интересно было бы посмотреть для литературного, так сказать, интересу самое „дно“,—он долго угощал нас чаем с ромом, и несовсем охотно повел нас в какие-то катакомбы, где у дверей разных коридоров стояли огромные, грязные женщины и дико ругались. Я старался более или менее запоминать, что видел, хотя видел мало, но я надеялся на фантазию. Ах, эта молодая фантазия! Отчего теперь есть все сорта уловок, все тонкости литературных приемов, все ухищрения мастерства, а строить не из чего—нет фантазии, которая тогда населяла мир и творила все из ничего!

Я накатал одним духом 4 или 5 очерков. В основание, кажется, были положены смутные воспоминания „Notre Dame de Paris“ и „Misérables“ Виктора Гюго. В Вяземской Лавре жили: Гавроши—спичечники, Эсмеральды—зеленшицы и селедочницы и добрый Квазимодо, хромой бочар. Строчки набегали сами собой... Худеков был в восторге. К. приобретал день ото дня большую важность; я же пил жизнь, как пьяница вино. Все было хорошо, все прекрасно. Получив около 40 р. гонорара на свой пай, я собрался домой на летние каникулы, и чувствовал то, что должен, вероятно, чувствовать молодой колос, наливающийся влагою будущего зерна...

Я перешел на 4 курс, приехав осенью в Петербург, и, не имея „помощи“ со стороны К., который почему-то „разошелся“ с газетой,—кажется, попробовал что-то писать самостоятельно, и жестоко провалился—очень бедствовал. Дня по два, по три приходилось сидеть на селедке с чаем. В ту пору мы, студенты старших курсов, усердно посещали заседания юридического общества (по субботам), где разбирался проект нового уголовного уложения. Заседания были на редкость оживленные и яркие. Кроме профессуры, в заседаниях

принимали участие многие сенаторы и светила адвокатуры. Талантливее и остроумнее всех был П. Я. Александров, прославившийся своею защитою Веры Засулич. Он был, можно сказать, до краев переполнен едким сарказмом. Худой, с маленьким, некрасивым, странно усеченным лицом, напоминающим обгрызанную селедку, он говорил высоким, режущим голосом, с злобною ирониею и большим сосредоточенным темпераментом. Лично мне его ораторский талант представляется и поныне, кажется, одним из самых ярких и замечательных. Несколько напоминал его, по мефистофельскому тону, известный Герценштейн, убитый союзом русского народа, только темперамента александровского у последнего не было. „Хорошо было бы дать заметку в газету!“—подумал я. Но в какую? Ясно, что и „Нов. Время“, и „Новости“ имеют тут своих корреспондентов. Это были две единственные политические газеты того времени, да еще „С.-Пет. Вед.“, перешедшие недавно под редакцию В. Г. Авсеенко. Разве попробовать в „С.-Пет. Вед.“? Так я и решил. Утром я написал заметку, строк в 50-60, и отдал со страхом и трепетом швейцару. Редакция помещалась на Троицкой ул., вблизи Графского переулка. Показалось мне, что швейцар крайне презрительно взглянул на мое пальтишко, сверх которого был накинут драный плед, и это привело меня в окончательное смущение. Ранним утром побежал я к газетчику, купил „С.-Пет. Вед.“—и в хронике нашел всю заметку, целиком и даже без всяких изменений. Вопрос шел, значит, о том, чтобы получить гонорар и пообедать. Я вызвал К. и сказал ему: „Слушайте, я сам отнес заметку, сам придумал обратиться в редакцию „С.-Пет. Вedom.“—по всей справедливости, это мои деньги. Тут рубля на 3½. Но за гонораром пойдете вы, потому что я стесняюсь,—и тогда, извольте, поделимся“. К. сейчас же пошел, а я считал минуты. Ждать пришлось не долго, так как жил я по близости, на углу Невского и Литейной. У К. нос был повешен на квинту. „Гонорар выдается по субботам“—сказал он грустно. А был понедельник... Мучительно долго тянулись дни. Наконец, наступила суббота. И тут случилось еще осложнение: К. отдал в починку пальто и не мог выйти. Пришлось пойти самому. Я не в силах передать, как я волновался и какую удивительную фигуру представлял собою, сняв внизу у швейцара пальто и поднявшись в помещение конторы и редакций. На мне, помню, была совершенно идиотская визитка,

сшитая „лучшим“ мозырским портным, с полами, расходившимися чуть ли не от воротника, неопределенного цвета брюки „с искрой наваринского дыма“ и узенький, десятикопеечный черный бантик вместо галстука. Взглянув в зеркало, я увидел бледное худое лицо с взлохмаченной копной волос и грустно-растерянными глазами. Вдобавок университетский наш доктор, — изрядный коновал, надо сказать правду, — прижег мне ляписом подбородок, отчего образовалось огромное черное пятно... Ансамбль был редкий. Пересохшим языком я объяснил очень строгой даме, сидевшей за главным столом, цель моего посещения, причем на слове „гонорар“ голос понизился до шопота умирающего. „Ваша фамилия?“ сказала она тоном начальницы женской гимназии. Я пролепетал. „Потрудитесь подождать, присядьте“. Я скромненько, воздушно касаясь стула, присел у окна. Весь этот день, сыгравший главную роль в моей жизни, я помню с отчетливейшими подробностями. По петербургскому обыкновению, день выдался серый, дождливый, пасмурный, и хотя время еще было не позднее, часа 4 пополудни, но уже стемнело. То и дело, в комнату из боковых дверей входили и выходили разные люди. Со священным трепетом думал я про себя: „это сотрудники“. Случалось, что они подходили к столу, где сидела строгая дама, и расписывались в книге, а она им выдавала деньги. „Гонорар!“ — соображал я и помню, что ни малейшего удивления не вызывало во мне то, что они получали деньги, а я сидел и ждал. Понятно, что я должен ждать, и это совершенно в порядке вещей — они, сотрудники, получают, а я, молодой человек в идиотской визитке, должен ждать. От множества лиц, мелькавших предо мною, и от волнения, я не запомнил ни одного лица. Все они сливались для меня в какой-то величественный организм газеты, которой, можно сказать, огнедышащий кратер я видел в первый раз в жизни. Из комнаты направо доносились громчайшие раскаты смеха и рокочущий громopodobный голос. „Должно быть, сам редактор!“ — решил я. Но дверь отворилась, и, звякая шпорами, оттуда появился саперный, как мне показалось, подполковник или полковник, с аксельбантами, и тем же громopodobным голосом попросил выдать ему гонорар. „Сейчас, Владимир Карлович!“ Владимир Карлович повернулся на каблуках и, сказав что-то молодой конторщице, расхохотался так, что задрожали стекла. Это был В. К. Петерсен, писавший под псевдонимом „Н. Ладожский“

литературные и общественные фельетоны—человек одаренный и умный, о котором, к сожалению, в литературе не осталось почти никаких следов. Умер он в чине генерал-майора, и в „Нов. Времени“ был ему краткий некролог—тем дело и кончилось.

Тянулось мое сидение уже больше часа. Я не испытывал, конечно, нетерпения, ибо то, что я видел, было для меня заманчивее самой интересной сказки из „Шахерезады“. Уже совсем смерклось, когда, припадая на одну ногу, прошел мимо меня сухощавый человек среднего роста, с редкой, седоватой шевелюрой, и дама, сидевшая в конторе, сказала: „Вот, Василий Григорьевич,—сотрудник, о котором вы спрашивали“. Господин живо на меня оглянулся, протянул мне руку и сказал: „Пожалуйста, зайдите ко мне“, и направился вперед в смежную комнату. Все это продолжалось одно мгновение, но мысль моя прожила десять лет. Господин посмотрел на меня в кабинете еще раз умными, черными глазами и молвил: „Это ваша заметка об юридическом обществе?“ „Моя“. „Она хорошо написана, литературно. Пишите дальше“. Я пролепетал: „О чем?“ О чем хотите! Вы знаете языки?“ „Более или менее французский“. „Ну, это немного!... Вот если бы знали немецкий“... Я промолчал. „Вы студент?“ „Да“. „Так пишите... У вас есть перо“. „И об юридическом обществе можно?“ Он улыбнулся: „Можно“.

Я вылетел из кабинета, как птица, и только на лестнице вспомнил, что не получил гонорара, и вернулся назад. Получил я 3 р. 15 коп.—помню отлично. В этот день я обедал с приятелем, ныне прис. пов. (правозаступником) В. Г. Генкеном, на углу Невского и Литейного в „шикарной“ кухмистерской—за 40 к. с кофе. У меня горели щеки от возбуждения, и уже в 7 час. вечера я был в юридическом обществе. Даже огней не зажигали, и с час я бродил по темному коридору.

Так началась моя настоящая газетная, уже не прерывавшаяся, карьера. В. Г. Авсеенке я многим обязан, и этому человеку, помогшему мне овладеть „тайной“ журнализма и открывшему меня, принадлежат самые лучшие мои воспоминания. Он был первый, который не прошел мимо и оглянулся на случайного автора. По натуре В. Г. Авсеенко вовсе не был экспансивен и отнюдь не принадлежал к числу увлекающихся людей. Он был скорее сух, уравновешен и сибарит. Но он был литератор, в истинном смысле этого слова. Он был от литературы. Оттого он и обратил внимание,

вероятно, на заметку в 60 строк — он в ней заметил печать литературы, то, что в журналистике ценится все меньше и меньше. Журналистика отрывается и отрывается от литературы, и наша русская следует в этом отношении примеру западной. Я помню, как француз-приятель, Жюль-Буа, тоже начинающий литератор, сказал мне наставительно в 1894 году в Париже, увидев, что я записался в отеле — „Journaliste“: „Dieu vous garde! Пишите: „Homme des lettres“. Журналист — это просто „canaille“; все же, что сколько-нибудь грамотно, — это „литератор“. И тон Буа напомнил мне раздражение директора Борденава из „Нана“, который возмущался, когда ему говорили „ваш театр“. — „Ne dites pas mon théâtre: dites mon bordel“.

В. Г. Авсеенко не только дал мне работу и оценил мои задатки, — он руководил мною, а это еще важнее. Он правил мои рукописи. Значение литературной правки — того, что Салтыков так метко выразил в афоризме — „не он хорошо пишет, а мы его хорошо печатаем“ — огромно. Правка нужна, конечно, статье, но еще больше автору. Это предметный урок, настоящая школа литературы, воспитание вкуса. Большая убыль литературных сил началась с того времени, когда редакторами газет (а газеты поглощают по преимуществу литературные силы) стали политики, а то просто „люди с чутьем“, а не литераторы. Им некогда возиться с рукописями, да и дарование начинающих их занимает мало. В. Г. Авсеенко был одним из немногих редакторов-литераторов. Он газету вел, может быть, не по газетному, т. е. нерыночно; оттого она и не имела рыночного успеха. Но он любил литературу, я и не могу и не хочу забыть его драгоценной заботливости о моих первых шагах. Достоевский в одном из „Дневников“ своих желчно обозвал Авсеенко — „Коленкоровых манишек беспощадный Ювенал“. Это — метко. Но вместе с тем, русская литература, питавшая общественность, и *vice versa* возвела эти самые коленкоровые манишки в ранг некоего демократического флага, способного покрыть только потому, что он коленкоровый, всякий груз убожества. Это — то презрение к условности, а значит, к культуре и цивилизации, которое повлекло за собою катастрофическое оголение страны от всего, что было создано столетиями. В синодике грехов русского литературного лицемерия презрение к ювеналам коленкоровых манишек сопрягается

и в одну строку должно писаться с апофеозом посконной рубахи, опорок и лаптей. И, может быть, теперь мы научимся больше ценить и уважать таких людей, как В. Г. Авсеенко. Насколько я его знал и в ту пору, как я его знал, В. Г. Авсеенко никак нельзя было отнести к „реакционерам“ безоглядного типа. Он очень любил, очень восторгался Тургеневым, и в мирозерцании его было много общего с тургеневским и „потугинским“ из „Дыма“. Он как-то рассказывал анекдот о том, что в бытность его в киевском университете, студентам было задано сочинение на тему „О пользе Европы“. Эта анекдотическая тема, однако, довольно близко и точно определяла сущность его мирозерцания. Европа представлялась ему образцом для подражания, и если он не был конституционалистом в то время, когда издавал „С.-Пет. Вед.“, то это объясняется тем, что он не усматривал ни в обществе, ни в народе элементов конституционализма, русского *tiers état* и русской буржуазии. Достоевский высмеивает какую-то рецензию Авсеенко о французском Михайловском театре, в которой встречалось такое выражение — „теплый буржуазный жанр“. Но душе Авсеенко был, действительно, и понятен, и близок этот жанр, рисующий устойчивую, морально крайне дисциплинированную жизнь. Это было ему настолько близко и понятно, насколько чуждо и далеко было нигилистическое, анархическое отрицание, в чем, собственно и заключалось наше литературное „передовое“, да и не только передовое направление. И точно, мы еще не научились лепетать, в смысле накопления моральных и социальных ценностей, но отрицания за то были полные пригоршни. Все хорошо, когда идет согласно закону сложения и разложения сил, и сила сопротивления учитывается, как и сила давления. Но русская литература занималась лишь созданием „контр-форсов“ и нисколько не задумывалась над созданием того, что должно было испытать силу разрушительных ударов.

Я стал писать в „С.-Пет. Вед.“ усердно. Второй статейкой пустил тоже об юридическом обществе „Дуэль по поводу Дуэли“. Не помню уж как, попробовал фельетон под псевдонимом „Наблюдатель“; затем напечатал целый ряд статей по экономическим и юридическим вопросам, особенно, по поводу проекта нового уголовного уложения. По истечении нескольких месяцев я получил предложение писать ежедневно маленький фельетон, для чего и являлся аккуратно в редак-

цию. И таким образом я стал профессиональным газетным сотрудником. Я работал много и упорно. Указания и изменения редакторского карандаша подвергал я обстоятельному анализу. Я добивался в фельетонах своих формы с необычайною для моего „легкого“ характера настойчивостью. Случалось, что фельетон в 150 строк я писал два — три дня, перемарывая и переписывая по несколько раз и приходя в отчаяние от несовершенства своей техники и от неумения найти законченность и яркость слова. В то же время я выполнял всяческие поручения редакции — бывал в суде, в заседаниях обществ, даже на юбилее училища Правоведения присутствовал, стоя в трех шагах от Александра III и Марии Федоровны. Воображаю, какую комическую фигуру представлял я в чужом фраке, сидевшем на мне, как на вешалке! Эти „выезды в свет“, в качестве репортера, сослужили мне большую службу, расширив сферу моего наблюдения, сообщив много живых сведений и сведя лицом к лицу с разными деятелями того времени.

Редакцию „С.-Пет. Вед.“ составляли в то время М. М. Коялович, П. Ф. Левдик, А. А. Коган, М. Г. Вильде, Д. П. Сапиенца и В. А. Лебедев. А среди сотрудников были: упомянутый уже В. К. Петерсен-Ладожский, Н. К. Морской, П. П. Гнедич, И. К. Галлер, музыкальный критик, проф. Н. А. Любимов, А. Н. Энгельгардт (жена известного Энгельгардта) и др. Редакция и контора занимали небольшое помещение. Из комнаты, являвшейся конторой, вели две двери в кабинет В. Г. Авсеенко и в сотрудническую. Другая „сотрудническая“ комната, где сидел и я, сообщалась прямо с кабинетом Авсеенко. В этой комнате, кроме меня, восседали А. А. Коган, В. А. Лебедев, а позже — М. М. Коялович. Коган был красивый мужчина с пушистой бородой; хотя с явно еврейской фамилией, но ярый антисемит. Он был сотрудником „Московских Ведомостей“ и очень гордился знакомством с Катковым. Если память мне не изменяет, он писал в „Моск. Вед.“ под псевдонимом „Неизвестный“. У нас он вел, попеременно с Левдиком, иностранный отдел, а одно время, кажется, и печать. Он почему-то постоянно хмурился и утверждал, что какие-то не то обманутые мужья, не то политические противники покушаются на его жизнь. До сотрудничества в „С.-Пет. Вед.“ он долго жил за границей, бранил нашу русскую жизнь и все рвался обратно в иностранные земли. Человек, в общем, был

мало общительный и неособенно приятный, хотя образованный и порою интересный рассказчик, если только неособенно завирался. В. А. Лебедев, заведывавший отделом спорта, справочником и мелкой хроникой, являлся прямою ему противоположностью. Он был из „простых“, чуть ли не из наборщиков или корректоров, и состоял также „выпускающим №“. „Посмотрите на него“, — говаривал В. Г. Авсеенко, — „он ходит на каблуках, как наборщик, а если праздник, так не может не выпить“. Василий Ананиевич был костромич и говорил „предложит“ вместо „предложить“, был очень добродушен и не лишен писательской настоящей жилки. Он умер сравнительно молодым и не успел еще расписаться, но были у него и рассказы, и статьи совсем недурные — правда, без особенных умственных, но правдиво и тепло написанные. Любил закусить, выпить и повинтить, причем когда ремизился и партнер бранился, то только шире раскрывал синие глаза и при каждой штрафной взятке почему-то с сознанием оскорбленного достоинства приговаривал: „видите?“.

Мих. Мих. Коялович, сын профессора духовной академии, довольно известного в свое время Мих. Ос. Кояловича, был большим моим приятелем и таковым остался до самой своей смерти. Он был старше меня года на два, не больше, и когда я начал сотрудничать в „С.-Пет. Вед.“, он, кажется, еще состоял студентом, но уже твердо решил пренебречь дипломом, тем более, что был влюблен и собирался жениться. Получал он, по тому времени, большие деньги, что-то 400—450 руб. в месяц. И надо правду сказать, как прекрасный работник — настоящий газетный „антука“, — он этого стоил. У него был публицистический нерв, сарказм, известный, хотя и не очень стойкий, но так называемый „русский“ национальный политический взгляд. Он много читал, много знал и отличался блестящею памятью. Приэтом он обладал для газетного дела самой драгоценной чертой — внутренним тактом. Я с ним работал много лет спустя в „Руси“ А. А. Суворина, в революционные годы 1904—06 г.г., и еще буду иметь случай о нем говорить. В то время, про которое я пишу, он еще был, разумеется, молод, зелен, но задатки блестящего публициста были налицо. Он правил хронику и другие мелкие статьи, писал передовицы и был правой рукой В. Г. Авсеенко. Трудно себе представить более забавно-урод-

ливую наружность, чем у Мих. Мих. Кояловича: маленький пуговкою нос с небольшою бородавкой набалдашником, маленькие, почти что свиные, хотя умные глаза, непропорционально маленькая голова на длинном нескладном туловище и приэтом тонкий писклявый голос; к тому же в придачу заметная глухота, с годами все больше возраставшая. Женился он на редкой красавице, в полном смысле слова, так что я ахнул, когда он меня познакомил с невестой; вообще, по этой части он был „сих дел мастер“, и после этого говорите, что „уметь любить“ не значит все!..

Мих. Густ. Вильде я уже застал зело старым. Он копошился вокруг иностранных газет и был, что называется, старый театрал. По равнодушию своему тогдашнему к театру, я этой его особенности не ценил, как следует. Ходил он сгорбившись, в неизменном черном сюртуке, в заднем кармане которого находились бутылочка из-под сельтерской воды с молоком и булочка. Это был его завтрак или лэнч, или то и другое вместе. Авсеенко говорил про него, что у него от старости прекратились уже все физиологические процессы. Седые волосы его, довольно редкие, уже пожелтели. Оживлялся он только, когда заговаривали о театре. В то время воссияла звезда Е. Н. Горевой, которой страстным поклонником он числился. Откуда следует, что к разряду тонких ценителей он едва ли принадлежал. Но мне он мог говорить что угодно — я не видел ее, да и смотреть не собирался.

Дм. Петр. Сапиенца, собственно, попал в журналистику случайно, — кажется из чиновников министерства внутренних дел, прикомандированных к „Прав. Вестн.“. Мужчина большого роста, он отличался злобною ирониею и про всех говорил дурно. Сапиенца переводил иностранные известия, затем делал передышку, ходил по комнате, разминая геморроидальную поясницу, и костил всех направо и налево. Затем садился и повторял это последовательное чередование до конца занятий. Иногда станет у окна и смотрит на улицу. „Что смотрите?“ — „Да вот, смотрю, что упряжь у А. А. Матова (полковника Семеновского полка, управлявшего конторой) все улучшается, а гонорар все уменьшается“.

О П. Ф. Левдике я буду иметь случай говорить впоследствии. Он и недолго пробыл в редакции, увлекаемый более родственными ему по духу бульварными газетами.

Сейчас мне эти первые годы представляются восхитительными. Я зарабатывал до 150—175 руб. в месяц, компания подобралась приятная, жили дружно, по товарищески. Занятия в редакции начинались около 1—2 ч. и заканчивались в 4. В. Г. Авсеенко любил аккуратность и точность; в четыре он брал трость, желтые перчатки и отправлялся гулять перед обедом, и тут надо было кончать, хоть на полу-слове оборвать. В виду этого у сотрудников выработалась манера — писать, держа перед собою на столе раскрытые часы. Эту привычку и я усвоил и долгое время не мог от нее отвыкнуть. О будущем как-то задумывались мало. Когда живется ярко, чего там заглядывать в будущее! Было здоровье, была молодость, была еще не притупившаяся острота впечатлений. И аппетит!.. Я иногда вспоминаю теперь, какие порции упивались, случалось, на ужинах, в бывшем приказчиьем клубе (что на Владимирской ул.), куда меня научили ходить Коган и Левдик, постоянные посетители сего учреждения! За 60 коп. давался антрекот величиною с тарелку, да еще тарелка жаренного с луком картофеля!

Я сейчас стараюсь вспомнить, какие же меня, собственно, волновали в то время общественные и политические вопросы? Я писал передовые статьи обо всем, *de rebus omnibus et aliis quibusdam*, даже об иностранной политике, и фельетончики тоже обо всем — о музыкальных вечерах „могучей кучки“, о балалаечниках В. В. Андреева, о Стамбулове и его палочной политике, о дачах, о Боборыкине, о романе Зола. Среди бумаг у меня сохранилось несколько наклеек со старыми статьями и фельетонами из „С.-Пет. Ведом.“ Фельетончики были, как мне на нынешний взгляд кажется, суховаты, а передовые статьи, как это ни странно, несмотря на мою крайнюю молодость, были совсем настоящие. Стиль еще не выработался, а только вырабатывался, но взгляды, — сужу по просмотру — были здравые и ясные. В общем, что же требуется от газетной передовицы? Я был баловнем В. Г. Авсеенка. И из того обстоятельства, что этот, в сущности, сдержанный и суховатый человек относился ко мне с нескрываемою симпатиею, я ясно вижу, как глубоко верна и правдива психология известного водевиля Лабиша „*Le voyage de M. Perrichon*“, герой которого возненавидел того, кто спас ему жизнь, и воспылал нежностью к тому, кого якобы он сам спасает.

Несомненно, во всяком случае, одно: судя по тем статьям, которые сохранились в моем архиве, решительно нельзя найти в „С.-Пет. Вед.“ того времени признаков реакционерства. Это было скорее умеренно - либеральное направление, стоявшее во многом на основе „эпохи великих реформ“, как принято было тогда выражаться,—хотя с известными оговорками. Если принять в соображение, что то было время самой свирепой реакции Д. А. Толстого и Победоносцева, и что „С.-Пет. Вед.“ рассматривались, как „издание“, обеспеченное „обязательными объявлениями“, то следует признать, что В. Г. Авсеенко довольно искусно лавировал между Сциллой и Харибдой. По крайней мере, что до меня, то я не чувствовал в области юридических и экономических вопросов, которых, главным образом, касался, давления на свои взгляды и убеждения. Насколько я припоминаю это отдаленное время, Авсеенко давалось не легко его отщепление, хотя бы умеренное, от Катковского толка. Раза два в неделю в редакцию являлся Н. А. Любимов, известный сподвижник Каткова, и они долго с Авсеенкой ходили взад и вперед по кабинету. У нас это называлось — „гувернер пришел“. Н. А. Любимов к тому времени, когда я стал постоянным сотрудником газеты, уже перестал в ней печатать свои статьи. И так как в деле предоставления Авсеенко аренды „С.-Пет. Вед.“ Любимов сыграл немалую, если не главную роль, то было понятно его стремление удерживать Авсеенку на стезе строгой катковщины. Однако, удавалось это „гувернеру“ мало. Н. А. Любимов считался в катковском лагере одной из самых выдающихся сил. Немногие, быть может, знают, что цикл статей Н. А. Любимова „Против течения“, напечатанный в „Русск. Вестн.“ и содержащий исторический анализ событий великой французской революции, был, между прочим, написан специально для того, чтобы доказать Александру III (хотя едва ли нужно было так усиленно доказывать ему то, чего он так страстно хотел), что Людовика XVI погубила уступчивость, и что, остановленная вначале, французская революция не имела бы дальнейшего течения. Этот взгляд считался господствующим в придворных сферах, и уже после смерти Александра III передавали следующие слова, будто бы на смертном одре сказанные им Николаю: „Не уступай ничего, потому что, если дать палец, то они захватят всю руку“. Собственно, этот афоризм и представлял главную мысль исследования Н. А. Любимова. Бывая

в редакции, — всегда гладко выбритый, всегда в неизменном черном сюртуке, — он заходил в сотрудицкую и беседовал с нами. Ему, помню, нравились мои фельетончики, и в особенности те, в которых я „разделявал“ музыку „могучей кучки“. Он, кажется, был хорошо знаком с Балакиревым и др. представителями этой музыкальной группы.

IV. Первые театральные рецензии. — «Минута» Добродеева.

Летом же первого года своего сотрудничества в „С.-Пет. Вед.“ я внезапно стал рецензентом. Можно ли отрицать значение случая в жизни? Оглядываясь на себя, я должен сказать, что, конечно, не в смысле общих контур моей жизни, а в смысле частных, и весьма существенных, ее линий, очень многое и важное — определялось случаем. Так было и здесь — с театральным рецензентством, ставшим впоследствии главной основой моей литературной работы. Случай! И далее — потом тоже ряд случаев!

Театральные рецензии писали в „С.-Пет. Вед.“ П. П. Гнедич, М. Г. Вильде, Галлер и, кроме того, Н. М. Безобразов, известный балетоман, камер-юнкер, — личность довольно любопытная, о которой мне придется еще говорить. Я не знаю, почему, но Н. М. Безобразов прекратил свое рецензентство, а кто-то другой, который должен был писать, тоже оказался в „нетех“. Помню, я заканчивал какую-то статью самого прозаического свойства, вроде реформы мирового суда, когда меня позвал В. Г. Авсеенко. „Не поедете ли вы сегодня в «Ливадию»? Надо написать рецензию“. Я, вытирая замасленные чернилами пальцы, сделал большие глаза. „Как же я? Да и как туда пройти?“... Я задавал самые глупые вопросы, свидетельствовавшие о том, как, в сущности, я был далек от театра и от мысли, что я буду писать театральные рецензии. „Вы там встретите Николая Михайловича (Безобразова) — он вам все объяснит“, — сказал Авсеенко, и вручил мне редакционный билет. Я принял его, как некую священную утварь. Завернул даже, кажется, в бумажку. Мысль о том, что я поеду в театр, чтобы писать рецензию, волновала меня и пугала. Я уже имел случай заметить, что в театре, вообще, бывал очень редко, а в оперетке был всего раза два — на знаменитой Зориной, певшей „Чертенка“ с Давыдовым. Что же

касается балета, который тогда давали со знаменитой Брианца, то в балете я ни разу не был, и знакомство мое с балетом ограничивалось танцевальным диверτισементом или номерами, неизменно сопутствовавшими по традиции оперным спектаклям. Из этих хореографических отрывков мне памятли были лезгинка, которую танцевала Петипа, кажется в „Руслане“, и „танец часов“ в „Джюоконде“ Понкиелли. Вот и все мои балетные впечатления. Я не скажу, чтобы я не любил театра: когда я бывал в нем, то испытывал удовольствие. Но тянуть меня особенно не тянуло. И, во всяком случае, сознание, что я еду в театр, в качестве рецензента, заранее убивало всякую мысль об удовольствии, и я думал только о том, как бы мне выпутаться из глупейшего положения, в которое меня поставил В. Г. Авсеенко.

В „Ливадию“, — так назывался сад, находившийся в Новой Деревне за „Аркадией“ и Царской Славянкой, — будущий рецензент приехал на империале конки. Войдя в сад, долго искал Николая Михайловича, который мне „объяснил“, в какие двери войти и кому предъявить билет. Этим его „объяснения“ и ограничились. Весь спектакль я просидел на иголках. Выходили какие-то молодые женщины в трико и коротеньких юбочках и танцевали, потом выскакивала Брианца и вертелась на одной ноге, подвернув другую, и тогда кричали „браво“, а сидевший рядом со мной пожилой человек, с крашеными усами и в матового оттенка высоком цилиндре, очень напоминавшем головной убор факельщика, кричал что-то вроде „гау! гау!“ и стучал тростью. Вероятно, я был очень бледен. Я не только ничего не понимал и не соображал, но и мучительно страдал от своего непонимания, и все время беспомощно озирался окрест. В антрактах я упорно ловил Безобразова, но он был с какими-то шикарными дамами, а один акт просидел в ложе бенуара у самой сцены, с особенно шикарной дамой и особенно шикарным господином среднего возраста. Как я узнал из почтительного шопота окружающих, это были Никитина и Базилевский — она, звезда балета и подруга Базилевского; он — звезда золотопромышленности и друг Никитиной. Для меня эти имена, приводившие иных в „трепет“, были совершенно *du chinois*.

Безобразова мне все-таки удалось залучить на минутку по окончании спектакля. С великою наивностью, я спросил его: „что же мне писать?“ Но он не удивился моей наивности,

и с такою же грациею ответил: „Надо поддержать“. Надо поддержать! Я снова взобрался на империал конки и размышлял над роковым вопросом, как я „поддержку“ Брианца, и чем я ее „поддержу“... Потом решил, что утро вечера мудренее, и лег спать, причем снилось мне, что я сам надел трико и прошу Безобразова меня поддержать за вытянутую ногу. По утру, взяв листок бумаги, я окружил себя несколькими рецензиями, в духе и стиле которых написал „поддержание“. Так как рецензии, вообще, были характера „поддерживательного“, то однотипность их значительно облегчала задачу. Рецензия была напечатана петитом, и Авсеенко сказал мне на следующий день: „А сегодня вы поедете в „Аркадию“. Я вздохнул, но не посмел перечить. Опять взобрался на империал и снова поехал в Новую Деревню. Снова спросил Безобразова, как насчет французской оперетки, и снова выслушал, что „надо поддержать“. Я заметил, однако, что в виду рецидива моего рецензентства Безобразов отнесся к моей особе серьезнее. Он представил меня нескольким лицам, сидевшим в рецензентском ряду, в том числе человеку, похожему на факельщика. Это был А. Н. Похвиснев, „старейший балетоман“, сверстник детских игр Александра II, весьма любопытный обломок старого барства. Тут же я познакомился с М. П. Федоровым, посаженным редактором, как его называли, „Нового Времени“ и еще кое-с-кем. Они все отнеслись ко мне очень любезно и приняли под свое покровительство. Какой-то господин в соломенной шляпе, с красным бритым лицом, еще не старый, неистовствовал и стучал тростью больше всех, вызывая французскую опереточную актрису. „Замечательно! Поразительно! Изумительно!“ — восклицал он поминутно с польским акцентом и оборачивался во все стороны, стремясь вызывать сочувственный восторг в окружающих, и особенно обращаясь ко мне. „Ах, этот Агеевский“, — говорил мне в антракте старейший балетоман, — „я понимаю, что нужно поддержать, но ведь это уже слишком! В „Листке“ никогда не знают меры“. В последнем антракте Федоров и Похвиснев пригласили меня пить чай на веранде. Похвиснев рассказал последний анекдот: „Вы знаете, какой самый чистый человек? Сын Анны! Он девять месяцев пробыл в Анне (в ванне)“. Я хохотал, пил чай и начинал уже себя чувствовать королем в своем королевстве. Мне было неполных 22 года, лягушки квакали в соседнем болоте, и, может быть, даже пел соловей...

Похвиснев, как я уже сказал, был товарищем Александра II и Адлерберга и мог, конечно, сделать блестящую карьеру. Но промотался раз, — за него, по докладу Адлерберга, царь заплатил долги; потом промотался во второй раз, — снова Адлерберг доложил, и снова заплатили долги, но Александр II сказал: „Что это Сашка мотает? Чтобы это было в последний раз! Безобразие!“ После чего для Похвиснева настали мрачные дни. Его пристроили к главному управлению по делам печати, где он делал газетные вырезки для царя на ватмановской бумаге. Пока был жив Александр II, Похвисневу перепало еще кое-что, потому что, просматривая похвисневские вырезки, царь иногда спрашивал Адлерберга: „Ну, что Сашка? Ах, дурак!“ Адлерберг, конечно, отвечал, что Сашка без гроша, и Александр II, который вообще плохо разбирался в относительном значении денежных знаков, хохотал и говорил: „Ну, дай ему пятьдесят рублей,—нет, дайте ему три тысячи пятьдесят рублей! Ах, дурак Сашка!“ Но со смертью Александра II красные дни Похвиснева кончились. Существовал он только на жалование, которое получал за вырезки на ватмановской бумаге, и этого было мало. Наследства все были проедены, а привычки, и особенно к балету, остались. Тогда он стал писать балетные рецензии. Кстати, это открыло ему дорогу на пиры, устраивавшиеся в честь балетных звездочек. На пирах этих он держал себя с достоинством; черепаховое пенсне за бортом черного редингота, и затянутая корректная фигура, и подкрашенные волосы,—все это было безукоризненно, а la граф Любин из „Провинциалки“, и как Любин, он мог бы петь из „Фаворитки“ „Noi siamo poveri“. Его называли на франко-русских театральных трапезах „le doyen de la presse“, и ему неизменно принадлежало первое ответное слово за шампанским; он произносил его своим лающим голосом на чистейшем французском языке, и притом у него был „жест“! Ни он, ни окружающие не чувствовали, повидимому, что он изображает нечто вроде свадебного генерала. С сознанием достоинства, и нерукотворенности балета, он сошел в могилу — тихо, спокойно и незаметно, — кажется, в 1900 или 1901 г.

Мих. Павл. Федоров был одной из самых популярных петербургских литературно-театральных фигур конца XIX столетия. И он также умел с достоинством держаться в недостойном положении. В сущности, он был одной из мертвых душ, купленных Сувориным, и купленных очень удачно. Мих.

Павл. был из очень хорошей семьи,—кажется, сын адмирала или что-то в этом роде. В детстве он повредил себе ногу, стал хромать, и потому пошел „по гражданской части“. Гражданская часть была, однако, у Федорова не в авантаже. Он „слепил“ с кем-то вдвоем водевильчик, перевел другой, и стал завсегдатаем кулис. Выкупные, разумеется, скоро были проедены, и тут Суворин его купил за 6.000 р., кажется, в год. Был Федоров толст, очень некрасив, с отвислым брюхом, чревоугодник, сплетник, но в общем, *bon enfant* и чистокровная богема—до конца своих дней. Как у Похвиснева, как у Безобразова, как у целого ряда других из этого литературно-газетного кружка, у него не было семьи, которую заменяли дружеские отношения к какой-нибудь даме полусвета. „Мертвая душа“ и подставной редактор, Федоров, однако, барским видом производил известное впечатление, а для представительства газеты это было очень важно. Он являлся в редакцию, пил чай, что-то там будто бы читал, иногда даже объяснялся с посетителями, а затем, собственно, начинался его петербургский день. Долгое время он обедал вместе со всей газетной богемой в Малом Ярославце, где „печати“ за 75 коп. давали очень недурной обед, для обыкновенных посетителей расценивавшийся рубль в полтора. Я также месяца два-три обедал в Ярославце с этой компанией, которой неизменными членами были Левдик, Л. Ю. Гольдштейн, А. А. Плещеев, М. И. Пыляев, часто Вас. И. Немирович-Данченко, Н. М. Безобразов и др. После обеда хозяин ресторана, из уважения к гостям, предоставлял желающим кабинеты для отдохновения, и Федоров на диванчике всегда сладко часок похрапывал. Затем он садился на извозчика и отправлялся в театр—каждодневно, где нередко дремал, однако всегда на своем посту. И точно так же всегда, после спектакля, подбирал себе компанию ехать ужинать. Извозчиков он неизменно бранил за плохую и за неосторожную езду, причем частенько выходил из себя и колотил своей пухлой барской ручкой извозчика по загривку. Так как пролетарское самосознание беднейших крестьян в то время еще не просыпалось, то на извозчика рукоприкладство Федорова производило не больше впечатления, чем прикосновение мухи. Он только почесывался да посмеивался, Федоров же, успокоенный, давал при расчете извозчику лишний гривеник. Ужинал он обыкновенно у Лейнера, и начинался ужин очень оригинально—с ложечки соды, которую он

выпивал, чтобы унять изжогу и вызвать аппетит. Чревоугодие было для Федорова не только сладким, хотя и смертным, грехом, но я бы сказал — средством скоротать время, которое тянулось для него нестерпимо медленно, по отсутствию всяких интересов. Когда летом Федоров лечился в Экс-Ле-Бен или Виши, то француз доктор, наблюдая этот разительный образчик российского чревоугодия, говорил про него: „C'est pas un homme,—c'est une usine à gaze“. Федоров совершенно не переносил одиночества, и потому искал молодых, как я, которые его еще хорошо не знали, которым он еще не надоел, и которые готовы были выслушивать его сплетни и разговоры. Старые приятели посмеивались над ним и как можно эксплуатировали. При всем том, у него еще была особая беда — от нежного сердца, и он ревновал, что было глупо, как в смысле объективном, так и в субъективном. Однажды он, ужиная со мною у Лейнера, получил письмо, в котором значились следующие строки:

Под шляпой новою Брюно
Сокрыты старые рога,—
О, Миша, Миша, мудрено—
От друга отличить врага...

Он весь помертвел лицом и съел две ложечки соды, после чего вдвойне поужинал и, закулив сигару, сказал мне: „Вот вы еще молоды... А знаете, что бы я хотел? Чистенькая, небольшая квартирка, да, и горничная молодая хорошенькая, с французским батистовым передником и в чепчике-с, да, и с нарукавничками... Да... Подает мне кофе... Да... Потом я беру французский роман, и читаю“...

Почему этот идеал жизни он не мог осуществить — я не знаю! Это нисколько не помешало бы его „занятиям“ в „Новом Времени“. Но видно было, как, в сущности, все ему надоело — богемничание пожилого, почти старого, человека с компанией молодых, еще полных огня и жизни, людей. Он был бесконечно податлив и совершенно бесхарактерен, но в основе, конечно, приличный человек, и я представляю себе, например, как он должен был себя чувствовать, когда, по жалобе каких-то антрепренеров, возникло дело о рецензентских взятках и вымогательствах, и самого его призывали также к градоначальнику Грессеру. По его словам, Грессер сказал-де так: „Я не осуждаю, когда репортер берет там какую-нибудь благодарность,—но не вымогай. Я ведь и на приставов так

смотрю. Нельзя без подарков, но шантаж — пожалуйста на гауптвахту!" Федоров передавал эти слова Грессера без малейшей иронии. Это рассуждение казалось ему вполне правильным и логическим, как вполне уместной параллель с приставами. Одно время неизменным спутником Федорова был Мих. Ив. Пыляев, автор „Старого Петербурга“ и других подобных изысканий. Он был из купеческой семьи, такой же кругленький и толстенький, как Федоров, с розовым, как у поросенка, лицом и сложенными на брюшке ручками. Летом он посиживал на веранде „Аркадии“, про каковое заведение поэт, сотрудник „Листка“, Иванов-Классик, сложил, на одном из бенефисных хозяйских вечеров, такой экспромт:

Гостеприимная „Аркадия“
Приятством нрава своего
Пленить могла бы самого
Преосвященного Палладия...

Зимой Пыляев вместе с Федоровым были усерднейшими посетителями Приказчичьего клуба, о котором я уже упоминал. Пыляев терпеливо ждал, пока „дама“ его, маленькая блондинка, танцевала, а Федоров — винтил. Пыляев, вероятно, был очень ревнив — иначе трудно было объяснить его стояние часами у врат танцевальной залы. „Наблюдаю-с фанданго резвое“, — говорил он с усмешечкой.

Ник. Мих. Безобразов, собственно, примыкал только одним крылом к этой богеме. Он вращался больше „в свете“. Как я уже сказал, он был камер-юнкер. При „диктатуре сердца“ Лорис-Меликова, он состоял не то секретарем, не то делопроизводителем Верховной Распорядительной Комиссии, как ее называли, и хранил, яко зеницу ока, проект лорис-меликовской „конституции“. Он мне дал ее как-то на прочтение — в синей папке, как настоящее „дело“. Конституция, действительно, была совершенно куца. Частенько, когда надо было произвести впечатление на простоватых антрепренеров „Аркадии“, известных приятством нрава своего, он приезжал туда в камер-юнкерском мундире под небрежно расстегнутым пальто. На веранде тогда шло удвоенное угощение, а Ник. Мих. сообщал свои дворцовые наблюдения и разные придворные слухи. Связи у него, действительно, были, и карьера у него обозначалась прекрасная. Но как Похвиснев, он быстро все промотал и к службе считался непригодным. Мнение довольно ошибочное. Когда его приятель и еще в боль-

шей степени балетоман, К. А. Скальковский, был назначен директором горного департамента, Безобразов получил должность начальника отделения и служил отлично, хотя в богемском кружке и острили, что это не горный, а „игорный“ департамент. Позднее Безобразов был назначен от правительства директором какого-то акционерного общества рудников или чего-то в этом роде в Привислинском крае, и получал весьма большую „тантьему“. В качестве такого „финансиста“, он и закончил свою жизнь, совершенно отстранившись в последние годы от бывшего кружка, за исключением А. А. Плещеева, с которым отношения у него были старые и особо интимные, о чем мы скажем впоследствии.

Чтобы покончить с кружком „садовых рецензентов“ того времени, в среду которых я попал на первых порах, я должен упомянуть о Пав. Сем. Макарове, седовласом бакенбардисте, номинальном, как и Федоров, редакторе „Бирж. Вед.“. Он написал оперу „Марион Делорм“, которую едва ли кто-нибудь знает. Но это давало ему большую уверенность суждений. О газете он ничего не знал, и даже телеграмм не читал. Пил он преимущественно водку, так сказать, принципиально и по внутреннему убеждению. „Я водкой от чахотки излечился!“ — говаривал он и прибавлял: „А теперь каков“. Что не помещало ему умереть от болезни сердца, вызванной убежденным потреблением водки.

Труден только первый шаг. Убедившись в том, что мои рецензентские отметки нисколько не хуже других, Авсеенко стал, откровенно говоря, злоупотреблять моим рецензентством. Меня командировали на дачные спектакли, например, в Ораниенбаум, где была лучшая летняя труппа, с участием гастролеров. Поезд тащился в Ораниенбаум в то время 1¹/₂ часа, да столько же назад, да час на конку, да часа четыре на спектакль, и того 8 час., а зарабатывал я на рецензии рубля 2; впрочем, выдавали еще рубля 1¹/₂ на железнодорожный билет. В Ораниенбаумском театре я увидел впервые многих знаменитостей того времени — видел Волгину, красавицу и плохую актрису, видел Ермолову в „Чародейке“ и т. д. Театр, если не ошибаюсь, держал Сосновский. Среди рецензентов помню еще Н. Н. Лендера из „Нов. Вр.“, как говорили, fils'a naturel Абариновой, на которую он был похож лицом, но en laid. Он жил maritalement с опереточной актрисой Крузовой, которая была вдвое его старше.

Припоминая это время, я спрашиваю себя: были ли разговоры о театре среди компании газетных отметчиков и рецензентов? Да, конечно были, но исключительно характера анекдотического или фактического. Трактовать вопросы театра было совершенно не принято. Говорили о том, что Самойлов играл хорошо то-то, а Монахов то-то, Глебова то-то, а дю Плесси — вот то-то, адвокат Серебряный (с которым я лет 8 - 10 спустя познакомился—тип замечательный!) подал гостям на десерт огромное серебряное блюдо с цветами, фруктами и совершенно обнаженной Бланш Гандон посредине. Но о теории театра или хотя бы о какой-нибудь эстетической оценке никогда не говорилось ни слова. Я старался уяснить себе, почему это хорошо, а то не хорошо, и в каком смысле одно дурно, а другое прекрасно, но никакой помощи и никакого указания не получал. Я блуждал впотьмах. Это было какое-то совершенно эмпирическое искусство—театроведение, и я понял, что если почему-то мне нужно писать рецензии, то иной помощи, кроме той, какую мне может оказать усердное посещение театра, я ни откуда получить не могу. И значительно позднее, когда по капризу В. Г. Авсеенко, я стал посещать Александринский театр и жадно в антрактах прислушивался к тому, что говорили и какими словами обменивались театральные критики и театралы В. О. Михневич, Н. А. Лейкин, С. Н. Худеков и иные, — я не очень многому от них научился. Единственный театральный критик, который знал, почему ему нравится, и почему—нет, был Коровяков, горбатый человек, с огромным биноклем на ремешке. Но я, кажется, забегаю вперед и нарушаю хронологическую последовательность своих воспоминаний.

Осенью 1886 г. я сдал экзамены в университете и представил кандидатскую диссертацию „О находке“. Два слова о диссертациях того времени. Они писались юристами преимущественно по гражданскому праву, но не потому, что существовало такое особое пристрастие к вопросам гражданского права, а потому, что профессором этой юридической дисциплины состоял профессор Н. Л. Дювернуа, очень добрый, снисходительный, живой и остроумный человек, не утративший черт французского „жманфишизма“. Все диссертации он одобрял, а весь обязательный „колоквиум“ на тему диссертации состоял в том, что, похлопывая по тетрадке, он говорил: „труд! труд!“, затем прибавлял, что-нибудь ласковое или

рассказывал анекдот — тем дело и кончалось. Злые языки острили, что будто бы в тетрадку диссертации можно вписать басни Крылова, и то сойдет. Что до меня, то я довольно добросовестно отнесся к избранной мной теме, и даже проглядел в Публичной библиотеке, разбираясь с грехом пополам в смысле, 2—3 немецкие книжки. Тема о находке меня интересовала потому, что я считал глубоко безнравственной и аморальной конструкцию действующего права, по которой создается премия за выполнение элементарной обязанности всякого честного человека. Как водится, Дювернуа сказал „труд“, похлопав по тетрадке, и, как я заключил, едва ли дал себе труд просмотреть диссертацию. Я остановился на своей диссертации потому, что с ней связано мое случайное сотрудничество в „Судебной Газете“ — одном из оригинальнейших органов печати, порожденном реакционным и протекционным духом времени. Казалось бы ясно, что специальное, профессиональное издание должно было бы издаваться специалистом. Однако, издателем-редактором „Суд. Газ.“ состоял архитектор де-Векки, полуобрусевший италианец, какими-то путями получивший или перекупивший концессию. Как ни хлопотали почтенные юристы того времени получить разрешение на издание в Петербурге юридического органа, они встречали постоянно отказ, при чем ссылались обычно на то, что где один такой орган уже имеется, и в другом надобности не предвидится. Таким образом, де-Векки был монополистом. Смотрел он на свое издание совершенно так, как это определил издатель „Московского Листка“ — Пастухов, заявив на вопрос московского ген.-губернатора кн. Долгорукова, какое направление его газеты — „кормимся, ваше сиясь!“ Дело в том, что в „Судебной Газете“ печатались решения кассационных департаментов сената, и, кроме того, в почтовом ящике давались справки о судебных-сенатских решениях. Таким образом, круг обязательных подписчиков был обеспечен, и де-Векки хлопотал только о том, чтобы газета поменьше стоила. В этом отношении, — *сopra di Vasso!* — он превзошел, кажется, всех. Всю „литературную“ часть он сдал секретарю, получавшему 75 руб. в месяц. Этот „секретарь“ имел пару хороших ножниц и неограниченное право печатать все, если только оно ничего не стоит. Иные статьи (у адвокатов) добывал сам де-Векки, обещая за то какое-нибудь дело из провинции. В то время „секретарем“ у де-Векки состоял мой товарищ

по университету Розенштейн, впоследствии редактировавший „Приазовский Край“ и умерший в молодых еще годах. Вот этот-то Розенштейн и напечатал мою „диссертацию“ в двух №№ „Судебной Газ.“. Де-Векки, обивавший пороги министерских канцелярий, мечтая, как он произносил, о „зуби—зуди“, т.-е. о субсидии, ссылаясь даже, как мне передавали, в доказательство серьезно-научного характера его „газеты“, на мой „труд“ о находке...

Вместе с большинством своих товарищей я записался в адвокатуру. Моя адвокатская деятельность была поистине ничтожна и, увы, бездарна. Из „гражданских“ дел я, через посредство товарища, взыскал 300 р. по исполнительному листу, а по уголовной части выступал дважды по назначению в выездной сессии окружного суда с участием прис. заседателей в Петергофе. Оба дела я постыдно и глупо проиграл. Первое—о поджоге нежилого строения, якобы, из мести, было до такой степени слабо построено по части обвинения, что воистину только своею полною неумелостью я мог объяснить обвинительный вердикт. Помню, когда присяжные заседатели сказали: „да, виновен!“,—то я инстинктивно отодвинулся от своего клиента, ражего, рыжего детины, опасаясь, что он, в благодарность за защиту, хватит меня каким-нибудь тяжелым предметом. Второй процесс еще более интересен. Дело шло о том, что некая крестьянская девица, горничная, или, наоборот, кухарка, записала на свой девичий паспорт младенца, рожденного ее приятельницей, матроской, как незаконного, для отдачи в Воспитательный Дом. За компанию попали на скамью подсудимых все—и кумовья, и виновницы преступления, громко названного „сокрытием прав состояния“. Дело было, в сущности, вопиющее, потому что подсудимые абсолютно не понимали,—в чем их вина, и какое такое привилегированное состояние они скрыли. Я защищал, кажется, мать. Что я гордил—господи, ты, боже мой! Когда стемнело и принесли в залу заседания свечи, то у меня вертелась в голове вычитанная где-то фраза из судебной речи Гамбетты: „Не надо света! я и без него освещу это вопиющее дело!“ Вероятно, в таком же напыщенно-нелепом тоне я и вел защиту, упомянув несколько раз о „жертве“, находящейся в „когтях правосудия“. Помню, председательствовавший, Крестьянов, впоследствии сенатор, только головой покачал. Вердикт был обвинительный, так что даже суд был поражен, и постановил хода-

тайствовать об освобождении подсудимых от наказания. В обоих случаях противником моим выступал И. Г. Щегловитов, тогда молодой товарищ прокурора. Сидел он все время в расстегнутом мундире и издевательски держал себя по отношению к нам, неопытным и беспомощным молодым адвокатам. Я остановился мельком на своих адвокатских дебютах еще вот почему, между прочим. По общему мнению, я говорю хорошо. У меня хорошая дикция, громкий голос и довольно значительная сила убеждения. Я выступал, как оратор, довольно часто, и чувствовал, что владею аудиториею. И в то же время как ужасны, как безнадежны были дебюты! Я до такой степени был убежден в полном отсутствии у меня дара слова, что до 40 лет всячески отклонял от себя всякие публичные выступления. Я не жалею о том, что не занимался адвокатурой,— я не люблю этой профессии. Не в том дело, как говорится у Байрона,— что

Юрист всегда в грязи — того не скроем.
Как нравственности жалкий трубочист,
Покрыт он сажу толстым слоем:
Сменив белье, он все-ж не будет чист...—

а в том, что адвокат, особенно криминалист, как очень верно заметил в разговоре со мной Н. П. Карабчевский,— это неудавшийся и недоконченный эмбрион какой-то другой отрасли, поэтому всегда дилетант. Я думаю о том, что мог бы, пожалуй, поддержи меня тогда некто опытный и дружелюбный, развить в себе дар слова, и стать недурным лектором или оратором. Это могло бы полнее представить мою жизнь. Мало ли что! Но, как я уже сказал выше, в жизни очень многое зависит от случая. Здесь случай был против, а мог быть—за.

Как бы то ни было, я очень скоро решил уйти из адвокатуры, что и совершил, кажется, в 1888 г., гордо подав заявление о выходе из сословия, вместе с приятелем своим, ныне все же прис. пов. В. Г. Генкеном, тогда тоже пописывавшим в газетах.

Работая в „С-Пет. Вед.“, я приобретал литературные знакомства и связи. Курьезны были обстоятельства моего знакомства с Вас. Ив. Немировичем-Данченко. Как-то получаю я письмо от отца, что-де в романе Н. мировича-Данченко, напечатанном в „Нови“ (был такой журнал, издававшийся Вольфом и погибший из-за рамы, обещанной подписчикам в виде премии, и оказавшейся бумажной нарисованной рамой),— я

выведен в самом некрасивом виде. Достал я книжку этого малоинтересного журнала, и точно, в описании обеда железнодорожников выведен репортер, по фамилии Кугель, который, желая добыть сведения, спрятался под стол и, обливаемый из соусника или что-то в этом роде, заносил с великим усердием все, что там говорилось. Был я не столько возмущен, сколько аффраппирован, ибо был уверен, что Немирович-Данченко о моем существовании не имеет никакого понятия. Вскоре он посетил редакцию „С.-Пет. Вед.“, и я, уловив момент, заявил ему свою претензию. Добродушный и обязательнейший Вас. Ив. был сконфужен свыше всякой меры этим случайным совпадением фамилий и обещал в отдельном издании переделать фамилию. Он хотел вывести Шрейера, прозванного „королем репортеров“, и по созвучию — весьма отдаленному — написал мою фамилию. Кстати о Шрейере. Я его еще застал в числе действующей братии, но уже стариком и сильно сдавшим. Его место у призового столба оспаривал Н. Н. Животов, вскоре также умерший. Шрейер, точно, был юрок до крайности. Юрок и злобен, как говорят. Тогда только ввели телефоны, и он, желая насолить Нотовичу, уговорил его повесить телефон над кроватью, дабы в экстренных случаях сообщать ему лично о важных событиях. После чего Шрейер целую неделю не давал Нотовичу спать, будя его по разным пустякам и юмористическим поводам. Кончилось тем, что Нотович убрал телефон вместе со Шрейером.

Внимание литературных и газетных людей обратили мои статьи (их было около 10 — 15), под общим названием „Молодое поколение“. Эти статьи вошли в сборник „Без заглавия“, вышедший в 1900 г. В статьях этих проводилась мысль о том, что поколение едва ли на что годное. Многие, что я приписывал, собственно, нашему поколению, могло быть смело отнесено к русской интеллигенции. Я тогда смутно и неясно чувствовал книжность, искусственность, и потому безжизненность, вообще, русской интеллигентщины, происхождение и генеалогия которой, действительно, измеряются этапами литературной мысли. То, что у Уайльда носит характер парадокса — о пресуществовании искусства, определяющего жизнь, — в сущности, вполне подтверждается на истории русской интеллигенции. Ее крах и наша революция таавтологичны. Россия царей была искусственна, и среди прочих семиамидиных редкостей была и редкостная коллекция сме-

нявших одно другое литературных поколений. Все это я высказываю теперь, — и теперь это, пожалуй, не трудно высказать — тогда же я бродил вокруг и около темы, но, очевидно, кое-какие больные точки были мною нащупаны и, вероятно, успешно, хотя при своей молодости, едва ли я был в состоянии как следует разбираться в столь сложных вопросах ответственности. Во всяком случае, меня стали звать и предлагать „ангажементы“. Но звали, увы, не туда, куда следовало, и не те, кому следовало... Так, я не помню, как и когда я получил первое приглашение работать в газете „Минута“.

Газета „Минута“ принадлежала Серг. Ем. Добродееву, которого я в одном из сатирических очерков своих вывел под фамилией Метранпажев. Он был, кажется, из наборщиков и дошел до издательства „своим умом“. Был он красивый мужчина, с пышной бородой, и, как утверждали, основной фонд для издательства получил через женитьбу. Но главное, что помогло ему в издательстве, кроме коммерческой сметки, было умение ладить с Главным Управлением по Делах Печати. Говорили, разумеется, разное, и, понятно, нехорошее, особенно про бессменного управляющего делами Главного Управления, В. С. Адикаевского. На чужой роток, как известно, не накинешь платок. Так ли, иначе ли, но любопытно, что в то время, как литераторам и журналистам в самых крайних случаях удавалось исходатайствовать какую-либо концессию, купец, ежели он входил во вкус издательства, концессию получал сравнительно легко. Так, например, купец Ефрем Остолопов, торговавший под фирмой „Аравин“ сукнами, получил концессию на издание еженедельного журнала „Петерб. Жизнь“, который потом перекупил у него Нотович для бесплатного приложения к „Новостям“. С. Е. Добродееву тоже были широко раскрыты всякие издательские возможности. Он издавал „Живописное Обозрение“, газ. „Сын Отечества“, „Минуту“ и, кажется, что-то еще. Рассказывали, что „входя в антре“ Главн. Управл. по Делах Печати, он смиренхонько останавливался у дверей и только кланялся да улыбался, вытирая широкий, облысевший лоб, а начальство его распекало, и будто бы начальству так нравилась эта упрощенная распекация, что к этому „простому русскому человеку“ оно питало особое пристрастие. Не знаю. Могу лишь сказать, что с Адикаевским я впоследствии встречался очень часто, и без особого для себя удовольствия. Это был хитрюга первоста

тейный, „службист“ тончайший, и дела свои делал очень ловко.

Итак, Добродеев имел целый ряд изданий, и система его была молотить рожь на обухе. В один прекрасный день ему пришла в голову такая комбинация с дававшей убыток газетой „Минута“. Он сдал редакционную часть „в аренду“ группе из трех лиц—П. Ф. Левдика, А. А. Плещеева и Л. Ю. Гольдштейна. В виде гонорара он им уступал все театральные объявления и вообще, все те новые, которые они привлекут, и к сему прибавлял... 600 руб. в месяц субсидии. Коммерческая сделка для Добродеева была, как видите, гениальная: объявлений у него все равно не было, и, следовательно, он ничего не платил, кроме 600 руб. в месяц. Но система была небезвыгодна и для группы упомянутых журналистов. У них были большие связи в театральном и веселящемся мире, и ясно, что объявления они получают, и кроме того, им предоставлялась возможность — „создать газету“. А это весьма соблазнительно, для молодых людей в особенности. Люди были все способные, энергичные и даровитые—особенно двое последних. Принялись они за дело с жаром. Газета должна была быть архи-живая, архи-городская, архи-разухабистая, архи-бульварная, на французский лад. Л. Ю. Гольдштейн, которого я часто встречал у вдовы его брата, проф. консерватории Эдуарда Юльевича, Елизаветы Карловны, пригласил меня возобновить свои опыты в „Минуте“ новой редакции и писать воскресные фельетоны с платою по 3 коп. за строку. Это была плата, по тому времени, сносная—9 руб. за фельетон! Вот лежит передо мной один из этих фельетонов. „Если бы я не имел чести,—так начинается он,—принадлежать к благородному сословию журналистов и привычным пером шевелить струны человеческого сердца,—я хотел бы быть адвокатом и писать кассации—апелляции“. И т. д. и т. д.—длинное и бойкое шевеление пустяков об адвокатах Герке и Потехине, о том, что единственная либеральная, хорошо оплачиваемая профессия—это адвокатская, и о художниках, и о врачах—вообще, невинно и вполне цензурно. Л. Ю. Гольдштейн много раз уверял меня, что наброски эти имели большой успех. Может быть. Кто, в конце-концов, может сказать, что нравится случайному читателю случайной газеты?

Я много знал газет на своем веку, видывал разные виды газетной бойкости, сам, могу сказать с раскаянием, отли-

чался „резвостью секунд“, как добрый скакун, но такой необычайной и совершенно ничем, в смысле бойкости, не стеснявшейся газеты не запомню. Работала все молодежь. Приятель мой, о котором я уже упоминал, В. Г. Генкен, отрекомендованный мною редакции, получал 30 руб. в месяц за ежедневные передовые статьи. Всю городскую хронику и ежедневный маленький фельетон вел Альб. Карл. Гермониус, впоследствии редактор „Петербург. Газеты“—за 50 руб. в месяц. Когда приносили утром рано в редакцию статью, то мерили ее на пяди. За аршина полтора статьи платили рубля 3, максимум 4. При мне начинающий беллетрист Вакуловский принес роман. Дежурный из славной троицы сначала перелистал тетрадку в двух-трех местах, затем подкинул на руке, испытывая вес. „Хотите 15 рублей?“—сказал он. И так как Вакуловский замаялся, то вторично подкинул, и сказал окончательно: „Двадцать пять рублей. Идет?“ На этой сумме и сошлись. Роман был листов в 15 печатных. Главное, чем интересовалась газета,—это создание „сенсаций“. Так как из серьезных общественных или политических вопросов „сенсаций“ нельзя было создавать, то создавались больше легкие скандалчики. Не могу забыть „процесс-монстр“, который создала „Минута“ из разбирательства у мирового судьи Лесного участка дела об ударе зонтиком, нанесенном репортеру Готбергу, известному более под именем „Яши“, в саду „Аркадия“ опереточной артисткой Воынской. Яша что-то наврал в газете или насплетничал, и Воынская, жена Арбенина-Пальма, опереточного режиссера, брата С. А. Пальма, дама энергичная и бойкая, вступила с Яшей в пререкания, а затем раза двахватила зонтиком по Яшиному цилиндру и сильно помяла его. Это, собственно, и являлось „осью“ судебного процесса. Но „Минута“ на этой оси создала „Cause celebre“. Полторы страницы, т. е. 9 столбцов, было отведено „процессу“. Характеристика обвиняемой и ее опереточная карьера; ее роли, бенефисы, гардероб и „relations“. Характеристика Готберга. Что представлял собой его цилиндр. Значение печати. Гражданский истец—И. М. Кнорозовский (мой большой приятель, скончавшийся в 1914 г., тогда пом. прис. поверенного). Чем отличается Кнорозовский от Лашо и чем напоминает Перье. Свидетели. Биографии А. А. Плещеева, П. Ф. Левдика, Л. Ю. Гольдштейна. Их наружность. Что такое „хорошо сохранившийся мужчина“ „известного возраста“? Публика. Пятьдесят

характеристик, портретов и моментальных снимков. Погода. Как реагировал на процесс город, в частности, Лесной, Невский проспект, и пр. пр. Это была, конечно, чепуха, но настолько необыкновенная, такая задорная и шаловливая, что читатель пялил глаза и облизывался. Газета шла бойко, и я сейчас не помню, почему троица бросила это дело. „Густая“ полемика между „Минутой“ и другими листками не прекращалась ни на один день, в качестве специфического оживляющего средства. Особенно памятна осталась мне „полемика“ между Гольдштейном и редактором „Петерб. Газеты“ Акселем Гермониусом, которого не следует смешивать с братом его Альбертом. „Я бы мог в свою очередь“—писал Гольдштейн— „назвать Финна (псевдоним Гермониуса) гуммозным человеком, дырявой чухонской лайбой, созревшим для ланцета гнойником, общедоступным пипифаксом,—но из уважения к читателям, воздержусь назвать его так и в полемике буду соблюдать приличие“...

Наблюдая нравы газетной Растеряевой улицы, Победоносцев потирал руки. Лет 10—12 спустя, он сказал как-то И. Л. Щеглову, явившемуся к нему по какому-то газетному делу: „Ничего не знаю! Знаю, что есть газетные нужнички, а больше ничего не знаю!“

Как Пилат, он умывал руки. Но кто, как не он, был главным виновником понижения умственных и политических интересов русской печати? В „Московск. Сборнике“ Победоносцева есть такие строки, обращенные к представителям печати. „Кто ты“,—пишет он, презрительно сжимая губы,—„ежедневно со мной беседующий? Может быть, я вовсе не хочу с тобой беседовать!“ А не хочешь—так и не беседуй,—можно, было бы ему сказать: силком ведь никто не тащит. Но не в этой риторической фразе дело, а в том, что кого же и на какой предмет допускали к беседе, и не был ли лозунг: „говорите о пустяках! болтайте!“—дан по всей линии именно правительством? Как ни далеки были Победоносцев и Д. А. Толстой от наполеоновских Морни и Мопя, это было, в сущности, одно и то же равенство по Вильмессану. И как Борденав говорил: „mon bordel“ вместо „mon théâtre“, так и Победоносцев должен был говорить „мой нужничек“ вместо „моя пресса“.

Лично для меня сложилось все это роковым образом. По живости нрава, увлекающемуся характеру, легко поддающемуся влияниям, наконец, по фельетонному складу своих первона-

чальных писаний, я был, в полном смысле слова, создан для того, чтобы стать „жертвой вечерней“ бульварной прессы. Пока надо мной была, так сказать, рука настоящего литератора (В. Г. Авсеенко), я был еще вне опасности. Но обстоятельства скоро изменились. Кто меня мог удержать, вразумить, поддержать, направить? Как отнесся Нотович — я уже писал выше. Затем было „Новое Время“, „кокошья“ газета, сирена высокой марки, но тем и кончилось ее отличие от „Минут“ разного рода. Была еще, правда „литература“, о которой всегда столь пространно и торжественно писал Михайловский, но для консолидации сил которой не только ничего не сделал чванливым направлением своим, но, наоборот, где и как только мог дробил ее делением на овец и козлич. Я чувствовал в себе какую-то искру божью, но жар души растрчивал в пустыне, никем не примеченный и не поощренный. А я был самолюбив и, как улитка, вообще, уходил в себя. Припоминаю, например, рецензию в „Русской Мысли“ о моей книжке „Без заглавия“. Что это была за разгильдяйская и презрительная рецензия! Конечно, не бог весть, что и было в моем сборнике, но все-же, ведь, было там что-нибудь, указывающее на возможности. Ведь, если бы рецензент, разбранив меня на чем свет стоит, указал на эти возможности и на пути к достижению их — может быть, я бы стал писать иначе и об ином, и пошел бы иным путем, иной дорогой... Но, ведь, ничего, решительно ничего! Сидели генералы, изрекавшие, как бонзы, какие-то пифийские слова. Мычали Губаревы из тургеневского „Дыма“, с важным видом закусывая клоч бороды и, приподымая указательный палец, произносили: „М-да, это очень... м-да... важно! Очень... м-да!“

Конечно, можно заметить по этому поводу, что у „жертво-вечерних“ духа большого не было. Это — верно. Но ведь не хитро с большим духом большие дела делать, а важно на большие дела малых духом подвинуть...

Обстоятельства, резко выбросившие меня, и надолго, в бульварную печать, заключались, помимо яда легкого и пустого успеха, также в экономических причинах. „С.-Петербург. Ведом.“ явно хирели. Я уже привык к некоторому комфорту, зарабатывая около 200 р. в месяц, занимал две довольно большие комнаты, носил перчатки, вообще, избаловался, а между тем газета стала оплачивать работу не только крайне скудно, но и крайне неаккуратно. В месяц удавалось заработать рублей

80—90. По сложившимся привычкам, это уже была нужда, и приватный заработок являлся необходимостью. В это-то время и явился змий-искуситель, в образе Акселя Карловича Гермониуса, назначенного редактором „Петерб. Газ.“ вместо заболевшего чем-то вроде психического расстройства П. А. Монтеверде. Мне был сразу назначен по тому времени изрядный гонорар—7 к. за строку, и помещали меня не только охотно, но и с явным заискиванием. Это льстило молодому самолюбию. Потом предложили писать воскресные фельетоны, где я впервые стал подписываться „Ното повис“ в честь В. Г. Авсеенко, писавшего под псевдонимом Ното. Статьи же я подписывал „Дебютант“. Обо мне шибко заговорили в газетном мире. Появились какие-то поклонники... Так и пошло... 17 лет я писал в „Петерб. Газ.“, отдал ей лучшее, что имеется в молодости — воображение, темперамент, страсть... Я скорбно гляжу на эти годы. Лично я ничего не могу сказать дурного про отношение газеты ко мне. Она не пыталась наложить на меня заметно свою руку и подчинить своим, в общем, невзыскательным вкусам. А в качестве театрального критика, скажу, что ни в одной газете я не пользовался такой свободой суждений и мнений, как там. Но, увы, самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет. Газета не виновата и ничем предо мной не провинилась. Мне было слишком легко в „Петерб. Газете“. Мое искусство оставалось на уровне фельетона, и того, что я достиг в первые годы, было слишком достаточно на 17 лет „Петерб. Газеты“. Как фельетонист, я, однако, работал над собою много, но без руля и без ветрил. Я любил форму, быть может, чересчур любил ее. Статья или фельетон складывались у меня, большею частью, под углом какой-нибудь красивой аналогии или яркого контраста, или блестящего, как мне казалось, парадокса, или забавной остроты. В первые годы особенно я находился под непреодолимым влиянием Гейне и его „Книги идей“. Я часами сидел иногда над рукописью, добиваясь, чтобы было „совсем как у Гейне“, и страдал, что так не выходит. Случалось, что обессиленный мучительным напряжением и бесплодностью усилий, я падал на постель и заливался слезами. Я думаю, что во мне были хорошие литературные стремления и была душа художника. Но это самое лучшее время своей жизни, когда молодое воображение переполнено смутными призраками нерожденных идей, я провел в самых для моего лите-

ратурного будущего неблагоприятных условиях. Вот что угнетает. Я вспоминаю выражение моего талантливого друга А. И. Косоротова, кончившего свою жизнь самоубийством и написавшего незадолго до смерти в частном письме: „Горько подумать, чем бы мог быть и какую ошипанною сволочью сходишь в могилу“. Главное несчастье для меня было то, что по женственному своему характеру я нуждался всю жизнь в опоре, поддержке, в сомкнутом вокруг меня кольце идей, и ничего этого долгие годы не имел.

V. «Петербургская Газета» и ее сотрудники.

Итак, началось мое регулярное сотрудничество в „Петербург. Газете“, при чем я не прерывал занятий и в „С.-Пет. Ведом.“. Как я уже заметил выше, Аксель Карлович Гермониус, вступивший в редактирование газеты, задумал ее олитературить. Издатель, С. Н. Худеков, в это время уже шибко разбогател, и, как всегда бывает, стал питать честолюбивые мечты. Для этого тоже нужно было подтянуть газету, а верхом подтянутости он считал превращение газеты в русское „Фигаро“. Литературные силы, работавшие в то время в „Петербург. Газете“, были, действительно, значительные. Кроме неизменного Н. А. Лейкина, сделавшего для газеты своими „Кадрильными разговорами“ очень много, работал Н. С. Лесков, С. Н. Терпигорев-Атава, А. А. Дьяков-Житель, С. Г. Фруг. Это были, так сказать, литературные украшения газеты. Это новое вино было смешано со старыми дрожжами; тут были, по своему, также весьма даровитые, но насквозь уличные журналисты, как А. А. Соколов, бывший редактор „Петербург. Листка“, свирепый гонитель актеров, известный под псевдонимом „Театральный Нигилист“, автор нашумевшего романа „Театральные болота“. Он писал в газете „Заметки Праздношатающегося“. Потом известный И. А. Баталин, писавший под псевдонимом „Руслан“ и „Оса“. Далее, под псевдонимом „Чичероне“ писал заметки о том, о сем — „городские“ — А. А. Плещев. Было еще несколько литературных сотрудников — Бахтияров, Пыляев и др., всех уже не упомяну. Во главе репортеров стоял Я. А. Харламов, глуховатый на одно ухо и хромой на одну ногу, и затем шел целый ряд полу-грамотных отметчиков, „пожаристов“, „происшестввенников“ и т. п. Почти одновременно со мной, в качестве секретаря редакции, вошел брат Акс. Гермониуса, уже упомянутый выше, А. К. Гермониус, впоследствии заменивший своего брата на посту

редактора. С. Н. Худеков писал редко — и больше по городским делам. Об Александринском театре и других больших театрах писала издательница, Н. А. Худекова, симпатичная, милая дама, умершая во время революции, в 1918 году. В общем, состав сотрудников был в то время очень сильный, и нужно отдать справедливость А. К. Гермониусу, что он поднял литературную сторону газеты на значительную высоту.

Аксель Карлович давно умер, и дурная слава осталась по нем. Я не хочу ни оправдывать, ни защищать его. Прожив значительную часть своей жизни в театрально-газетном мире, я научился понимать своеобразные отношения этого мира и разбираться в грехах его и слабостях. Несомненно, что Акс. Гермониус, не будучи Бэконом, имел его слабости, и шутовское двустушие, ходившее по редакциям и приписываемое В. Ф. Платонову „Скажи, Альберт, по таксе-ль взимает брат твой, Аксель?“ — довольно близко подходило к действительности. Но в его, Гермониуса, мздоимстве была, так сказать, обезоруживающая сторона; он взимал, совершенно не понимая, какая это пакость. У него не было сознания греха или стыда или чувства неловкости. Он брал откровенно, просто, вот как птица песни поет. Как не стыдился Юсов, а только говорил: „Ты, брат, бери, да сделай, не марай чиновничества“, так и у Акселя Гермониуса это была совершенно ясная философия жизни, покоившаяся на убеждении, что таков строй социальных отношений, и потому он высоко, так сказать, держал знамя мздоимства. Бессознательный циник, он даже не бравировал этим, а относился в высшей степени деловито к антрепренерам, обложенным данью. Однажды часу в 4-м, когда большая часть сотрудников разошлась, А. Гермониус, уже в пальто и с портфелем, сердито барабана по стеклу окна, молвил вслух: „Что это, Лейферт (антрепренер балаганов на Марсовом Поле) не едет — ведь знает, что сегодня платеж! Безобразие! Жди вот тут!“. Этот „маленький недостаток“ Гермониуса знали все и, в первую голову, вероятно, знал издатель. Но так как Гермониус был человек способный, бойкий журналист, и главное, „в высшей степени цензурный“ редактор, то на „маленький недостаток“ смотрели сквозь пальцы, пока не разыгрался „гросс скандал“, о котором расскажу ниже. Быть „в высшей степени цензурным редактором“ в то время — значило обладать самым важным достоинством. Гермониус, например, не пропускал слова

„правительство“, почитая его „нецензурным“. Когда я его однажды спросил, почему он подвергает слово „правительство“ остракизму, то он мне ответил: „Правительство не доступно нашей критике, и потому не за чем упоминать его“. А когда я возразил: „Но ведь тут нет критики, а лишь упоминание“, то он сказал: „Всуге не за чем упоминать правительство“. Так вы и не найдете на протяжении нескольких лет в „Пет. Газ.“ ни разу слова „правительство“, за исключением официальных актов, где правительство говорит само о себе, в первом лице. Но еще „цензурнее“ было гонение А. Гермониуса на слово „лысый“. Я несколько раз замечал, что в моих статьях и фельетонах слово „лысый“ или совершенно устраняется или, что еще хуже, заменяется разными описательными выражениями, вроде „редкая растительность“, „жидкая шевелюра“ и т. п. Наконец, я задал вопрос Гермониусу, почему ему не нравится слово „лысый“. „А видите“, — ответил он мне, хитро поблескивая глазами, — „государь читает газету, а он лысый, ему будет неприятно встретить это слово. Может еще и на свой счет принять! Нет, уж пожалуйста, прошу вас, избегайте этого слова“. И лет пять, пожалуй, я обходил тщательно это слово, пока стал и сам лысеть...

Поскольку дело не касалось „в высшей степени цензурных соображений“, Гермониус предоставлял сотрудникам полную свободу, и даже в области театра не проявлял никакого давления. Если он „взимал по таксе“, то единственно за рекламы или за заметки, которые писал лично. Так, говорили, будто некий актер, приехавший делать в Петербурге карьеру, предложил 150 руб. в месяц за заметки об его выступлениях. Актер этот имел состояние и жестокую любовь к шекспировским ролям, для которых не располагал иными „данными“, кроме „данных“ за рекламу. И уверяли, будто А. Гермониус напечатал: „много, как видно, обещает, — посмотрим, как он оправдает эти обещания“.

А. Гермониус был, несомненно, очень способный человек, но опустившийся. Еще в университете, как говорят, у него была какая-то история с товарищами, от которых он печатно отрекся в баталинской „Минуте“, и тем расположил к себе „в высшей степени цензурное начальство“. Так он был, что называется, добрый малый. Красивый, хорошо сложенный, неглупый, подверженный хронической влюбчивости. Приэтом влюблялся он нередко бог знает в кого. И тогда происхо-

дила очередная драма: покинутая Калипсо оплакивала Улисса, а наш Улисс заводил другой предмет. Он был наивен в своих пороках, как сущий язычник, и потому бесполезно было ждать от него пояснения. Он не был нисколько зол, но детски испорченный эгоист, с атрофией некоторых сторон морального существа. Кончил он жизнь весьма печально. В результате его откровенных до грации получений с антрепренеров, разгорелась история. Дело было так: один антрепренер, которого распекал Грессер, как-то бухнул ему: „Позвольте, вашество, доложить — сил никаких нету, приставу плати, опять полицеймейстеру плати, репортеру плати, редактору особо“... Тут Грессер вспылil, очевидно, оскорбившись за полицию, которой приходилось делиться частью дани, и назначил расследование. Потребовали антрепренерские книги, и тут в некоторых нашли полностью прописанными все цифры „даденного“. Скомпрометированными оказались весьма многие, но пострадали только двое: А. Гермониус и еще кто-то, замешанные в деле купца Остолопова. Прочих генерал „великодушно простил“, сделав соответствующий нагоняй. Акс. Гермониус же должен был сложить редакторские полномочия, куда-то был выслан и пробыл в „почетной“ ссылке несколько месяцев. Присущество с купцом Остолоповым было такого рода. У купца Остолопова была „штучка“, актриса Р. И вот на этой „слабой струне“ все время играли. То исполняла она роль хорошо, то прескверно. То туалет был умопомрачительный, то безвкусный. То купец был почтеннейший negociant, то выскочка — смотря по обстоятельствам. Но Остолопов был купец крепкий и старого русского закала, т.е. при всей простоватости, с хитрецей. Однажды он решил, что плачено довольно, или, как говорится в щедринском жизнеописании менялы Парамонова: „а на дальнейшее сказано — посмотрим“. Решив это, он во время очередной беседы о субсидии спрятал в соседней комнате двух приказчиков-молодцов и поймал вымогателей с поличным. Составили письменную запись, — и к самому генералу! Ну, тут и пошло...

Я не считал А. Гермониуса способным на шантаж и думаю, что тут было не без посторонних влияний. Тогда было лишь известно, что по предложению градоначальника, Главное Управление по делам печати предложило издателю переменить редактора, — скрепя сердце, предложило — я полагаю,

ибо „в высшей степени цензурное ведение газеты“ высоко ценилось. А. Гермониус уехал в Одессу, где сотрудничал в „Одесском Листке“ и даже, кажется, одно время редактировал эту газету. Потом спустился ступенькой ниже и редактировал какую-то газету в Екатеринославе. Потом его разбил паралич. У меня хранятся два его письма, писанные из изгнания. Он перебирает в них свою жизнь и жестоко себя бичует. Я верю в то, что среда и его заела. А среда была ужасная... Антураж бульварной петербургской газеты, всюду читаемой и потому влиятельной; низкопоклонство буфетчиков, трактирщиков, демимонденок, актрис, актеров, темных дельцов, клубных арапов и пр. — все это кружило голову. При этом снисходительность свыше, ибо главное — быть в высшей степени цензурным. В конце концов, разврат был повсюду, и только привычка к чистоплотности могла бы удержать слабого человека, безыдейного и беспринципного, на стезе добродетели. С. Н. Терпигорев, со свойственным ему цинизмом, сказал мне однажды по поводу учреждения литературно-артистического кружка: „А ревизионную комиссию выбрали?“ И когда я заметил; „Ну, что это вы, С. Н., всех так мрачно представляете? Словно честных людей нет...“ — он возразил: „Молодой человек, поживите с мое, и вы убедитесь, что честные люди это — те, которые потеряли надобность быть нечестными“. Ну, хорошо, но сам Терпигорев, презирая газеты, в которых работал, — что собою представлял в таком случае? Ведь он был не молод и достаточно искушен. Совершенно такой же цинически откровенный, презрительный тон, как о „Пет. Газ.“, так и о „Нов. Вр.“, был и в речах А. А. Дьякова, когда он, бывало, выпьет с полдюжины пива. Не знаю, почему у Дьякова ко мне была, необъяснимая в таком жалком человеке и мизантропе, симпатия. Он приставал ко мне постоянно зайти к нему, поболтать. И я у него был раза два-три. Жил он в чрезвычайно курьезной обстановке. Большая квартира, в которой можно было найти с полдюжины стульев и несколько столов; затем очень много картин, наваленных на полу и только в редких случаях развешанных по стенам, груды разных книг, и всюду пивные бутылки. Дьяков был женат на еврейке, красивой женщине с грустными израильскими глазами. Ее жизнь была, вероятно, не из легких. Дьяков вечно изрыгал хулу на евреев, как устно, в присутствии жены, так и печатно, на страницах

„Нов. Врем.“. Две темы всегда волновали Дьякова—„жиды“ и „семейный ад“, и все это иллюстрировалось на основании, якобы, опыта собственной жизни. Каково было жене Дьякова читать раза два в неделю этакие иллюстрации! Тем не менее, она оставалась при этом мизантропе и диком человеке до самой его смерти—он, кажется, скончался, купаясь в одесском лимане. Дьяков был отвратительный собеседник, потому что собеседник это—тот, который говорит сам и слушает других. Он же почти не слушал. Ему надобно было только схватить ваше слово, чтобы завести свою пружину и говорить, говорить без конца... Он не рассуждал, а только злопыхательствовал в форме отрывочных и резких афоризмов и сентенций. Подлинно, все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел. Приэтом „демонизм“ его был неизящный и чортообразный. Дьяков был невообразимо некрасив и словно грязен видом, платьем и наружностью. В одном из очерков Дьякова о заграничной русской революционной братии, помнится, я встретил такую фразу: будто бы некая революционная девица взяла себе какого-то революционного мужчину, — жизнеописание какового мужчины и являлось предметом дьяковского очерка — и будто другая революционная девица после того, как первая ее осведомила о своем решении,—молвила кратко и просто: „Ты бы его в баню сводила“. Эта мысль о бане всегда напрашивалась при встречах с Дьяковым. Быть может, я неблагодарен к его памяти, ибо, как я уже заметил, у него было ко мне большое пристрастие, и однажды, правда, на 8-й или 9-й бутылке пива, — он сказал мне: „Я бы за то уже евреев выселил из России, что они вас не почитают, как самого талантливого человека из всего русского Израиля“. Фельетоны Жителя имели огромный успех. Несомненно, что он был даровитый человек. Но этот навинченный сатанизм, это его вечное злопыхательство и брюзжание, в котором не находилось ни одной примиряющей ноты и ни одного светлого пятнышка, — при прилежном, так сказать, чтении (как в его сборниках) производили впечатление какой-то мелодрамы. А раз в неделю попробовать этак немножко горького, при тогдашней ровной, спокойной и недвижимой жизни, было, надо полагать, весьма кстати. Похоже было на горчишную приправку или на острую сою к всегдашней сытости. В наше смятенное, голодное, страшное, кровавое время трудно, конечно, понять прелесть легкого бичевания и незначительных острых

уколов. Но тогда это было нужно, ибо „своей дремоты превозмочь не хочет воздух“...

Мизантропия, цинизм, нигилизм, жесткость в суждениях о людях, презрение ко всем (и в том числе, быть может, скрытое презрение к себе) — это было не только в Жителе-Дьякове; это было у огромного большинства литераторов и журналистов, работавших в „Новом Врем.“ и „Пет. Газ.“ — двух грешницах, одной пофигуристей и понарядней, другой попроще. Те же черты были и в Терпигореве. То же в Буренине. Таковы же были Баталин, А. А. Соколов и многие другие. Как будто люди озлобились за собственное падение. Как будто они, чувствуя его, всячески гнали от себя мысль, что существуют или-де могут хотя бы существовать люди, у которых есть общественно-политическая цель, или идеал служения, или же которые, по крайней мере, имеют право сохранить к себе полное уважение и, озирая свою жизнь наедине с собой, не стыдиться и не краснеть. Я выше привел характерные слова Терпигорева. Он всегда глядел насмешливо-иронически, умными маленькими своими серыми глазками. Лицо серьезно, а глаза смеются. Потом скажет что-нибудь, и непременно обругает. Ходил он в крылатке старого образца, и часто можно было видеть его фигуру на империаде конки, шедшей из „Новой Деревни“, где он жил. „Заходите“, — говаривал он, — „я вам свою библиотеку покажу“. Я и впрямь думал, что у него замечательная библиотека. Но „библиотекой“ он называл ряд полок с ящиками, где хранились самые затейливые настойки и напитки. Для них у него существовал особый алфавит, и комбинациям настоек, ерофеича, зубровок, рябиновых, померанцевых и т. п. не было числа. „Мой любимый автор в нынешнем году“, — говаривал он, — „это ерофеич“. Большим приятелем Терпигорева был фотограф академии наук, известный Конст. Шапиро, так как у Шапиро тоже была соответствующая „библиотека“ с напитками ультра-модерн, как у одного из героев романа Гюисманса — „А тебурс“. Однажды, когда я снимался у Шапиро, он меня повел в заднюю комнату и, осторожно озираясь, извлек из нижнего ящика какого-то шкапа флакон с желтоватой жидкостью, откуда в маленькую, с наперсток, рюмочку налил содержимое и предложил попробовать. Вкус был неопределенный, но аромат, точно, изумительный. Ударял этот напиток не в голову, а в ноги. „До этого Сергей

Николаевич (Терпигорев) еще не дошел“, — сказал Шапиро. — „Он все приставал ко мне: продай авторские на это сочинение, но я не продам. Угостить угощу, а не продам“...

Меньше литературным калибром, но еще больше в стиле вульгарного сатанизма, был Баталин. Баталин был из духовного звания, уроженец Калужской губернии, и, кажется, в начале своей газетной карьеры работал в первой половине семидесятых годов в „Биржевых Вedom.“, и был на хорошем счету. Потом как-то случилось с ним, — это было задолго до моего появления на газетном поприще, — что он поступил на службу к петербургскому градоначальнику (кажется, Трепову). Долго ли, коротко ли прослужил он в градоначальстве и каковы были его обязанности — я не знаю. Но после этого он уже чувствовал на себе „табу“, и сразу полетел вниз. Я читывал еще в университете его газету „Минуту“ (он же и был ее основателем), и помню, что она возбуждала в молодежи всеобщее негодование, так как громила студенчество за демонстрации и делание политики, и вообще почиталась, как позднее стали выражаться, газетой „черносотенной“. Вероятно, Баталин получал субсидию, каковую скоро пропустил между пальцев. Он рассказывал, как ему отказали в новой субсидии. „Прихожу это я к начальнику (это было, кажется, еще до Феокистова), ну, он мне стал говорить: и это у вас не так, и то, дескать, плохо, а вы бы вот что и вот этак... А у меня, знаете, мысли рассеяны, что, думаю, он городит. „Извините, говорю, — ваше превосходительство — возьмите платочек и вытрите нос: у вас течет“. Ну, он утерся, действительно. Только в субсидии уже отказали“. Баталин писал обо всем и о чем угодно, не без яду и злобы. Всех равно ненавидел и на все брюзжал. Вечера и ночи проигрывал в карты, а случалось, что и утром предавался тому же занятию. Когда он еще издавал „Минуту“, и неопытные сотрудники, из желторотых, приходили к нему за гонораром, он, случалось, предлагал им сразиться в картишки и обыгрывал, если удавалось, на весь гонорар. Издавал он также журнал ежемесячник „Колосья“, в котором неуклонно проводилась та же тенденция — по возможности не платить за статьи, а в статьях ругаться... Циник он был чрезвычайный, в стиле Ионы Писемского. Даже любил привирать насчет своего цинизма. Помню, однажды он рассказывал про литератора и журналиста В., который позволил

себе намекнуть в газете „Молва“ на его, Баталина, прежнюю полицейскую службу. „Хорошо“, — повествовал он, — „только на следующий день я и напечатал: что я служил в петербургском градоначальстве, это всякий знает, потому что служба моя была открыта, а вот что скажет г. В. о тех литераторах, которые к градоначальнику с заднего крыльца приходили и, как иуды, предавали тайком товарищей?“ Напечатал и жду. И что же вы думаете, приехал В., на колени стал, плачет: не губите,—говорит... Ну, я рукой махнул, простил. Я-то ведь знаю, сколько он в месяц получал за агентурные сведения“. Он доводил меня иногда своим цинизмом до бешенства, и однажды, не помню уже по какому случаю, я пустил в него, как Лютер в чорта, тяжелой чернильницей. Происшествие это не только не возымело на него отрицательного действия, но, наоборот, после него он стал ко мне относиться дружественнее. В начале девятисотых годов он для увеличения своего гонорара прибегал к весьма оригинальному приему. Он сотрудничал в „Свете“ Комарова одновременно с „Петерб. Газ.“, и спеш и рядом сам с собою полемизировал: дескать, „Свет“ по такому-то вопросу пишет то-то, но мы с этим в корне не согласны. А на следующий день пишет в „Свете“: „Газета Худекова, пером Руслана, пытается опровергнуть наши суждения. Как бы не так, или чья бы коровка мычала, а наша-б молчала“... Но самое замечательное, что он и не скрывал этих своих двухсторонних упражнений и полемики с самим собой... Баталина никто не любил, но злого языка его побаивались. Я его встретил в последний раз, за несколько месяцев до революции: для своих лет (ему было много за 70) он был очень крепок и бодр, и даже седины у него было мало. Но революция окончательно сбила его с толку. Он уехал в Калужскую губернию, на родину и там умер весною 1918 г.

В 1899 или в 1900 г. в „Петерб. Газ.“ появился новый сотрудник, которому предстояло завоевать себе немалую известность, это — В. В. Протопопов. Прошрое В. В. Протопопова, как история мидян, темно и загадочно. Говорили разное. Утверждали, будто он привлекался по делу о подделке ломбардных билетов, и оставлен был в сильном подозрении. Но в литературном мире того времени так много сплетничали друг про друга и так злословили, что полной веры слухам нельзя было придавать. Про весьма популяр-

ного романиста рассказывали, например, что он „роялист“, так как в молодости брал напрокат рояли и затем продавал их... Мало ли что! Этот предмет, вообще, меня мало интересует. Но было нечто другое, что связано в газетном мире с именем В. В. Протопопова. Он был первый русский интервьюер. Старик Суворин однажды выразился, что это пошлейшая форма газетного изложения. Я глубоко с этим согласен. Несмотря на то, что западная—преимущественно англо-американская и французская пресса—пестрела интервью, придающими, уже самой формой своей, газете оттенок „желтизны“, — русская печать, даже в лице наиболее мелких органов, все еще держались добрых традиций и интервью не знала. „Петербург. Газ.“ распадалась на две части: в одной печатались в литературном отношении хорошие статьи, — в другой подбирался материал хроники по вкусу невзыскательного, уличного читателя. Но статьи, в общем, были действительно хорошо написаны и отмечены индивидуальностью авторов. Конкурировать с авторами этих статей Протопопов не мог, и потому он осторожно, но настойчиво привил к газете интервью. Этот род искажения чужих слов, мыслей и мнений, обычно сугубо перевернутых репортером, „оживлял газету“ пестротой популярных имен. Газета делала рекламу интервьюируемым. Интервьюируемые делали рекламу газете. Шло обоюдное обучение по ланкастерскому методу, а публика глотала чепуху, потому что чепуха приписывалась известному лицу. Все, что было в газетном мире истинно литературного, с нескрываемой брезгливостью относились к этому новшеству. Терпигорев рассказывал, как к нему явился один из подражателей Протопопова, много известный впоследствии И. Ф. Манасевич-Мануйлов, в качестве интервьюера от „Петербург. Жизни“, и будто бы Терпигорев сказал ему: „Интервью я вам никакого не дам, а ежели вы всё-таки наврете и тиснете что-нибудь якобы с моих слов, так я напечатаю, что такого-то де числа был у меня интервьюер, а по уходе его я обнаружил исчезновение с моего письменного стола золотых часов... Адье!“ Постепенно американские приемы стали прививаться, и вместе с ними, росла популярность Протопопова, умевшего пробраться в какие угодно хоромы и затмившего бывшего „короля репортеров“, Шрейера. К интервью снисходили даже сановники, и помнится, спустя несколько лет, Дорошевич написал остроумный фельетон, сравнив „интервьюирование“ с массажем:

дескать, с утра уже проинтервьюировался, и потому бодр, свеж и гляжу вперед без страха и сомнения. Сам Протопопов ставил высоко свои интервьюерские опыты и называл их „сбором документов“. Впоследствии он стал сочинять пьесы и приобрел ими известность, и в основании этих пьес лежал, если можно выразиться, экспериментальный метод интервью.

Все-таки самой большой, в смысле уличного успеха „Пет. Газ.“, силой был Н. А. Лейкин. Если память мне не изменяет, он писал раньше в „Стрекозе“ и „Листке“, под псевдонимом Алектор, и, как говорят, сильно пил, чему можно было поверить, судя по следам обрюзглости на лице, которые и с течением времени не проходили. Н. А. Лейкин был человек весьма одаренный, но наивный и ограниченный. Его хорошей чертой было отсутствие всякой зависти. Лейкин выводил охотно молодых литераторов, и он же рекомендовал Чехова „Петерб. Газ.“, в которой, как известно, Чехов аккуратно в течение нескольких лет помещал свои рассказы. Когда я стал сотрудничать в „Пет. Газ.“, Чехова уже „перебил“ старик Суворин, и беллетристический отдел пополнялся почти исключительно Лейкиным. Я любил читать его романы и повести, разбитые на маленькие газетные главы, но большая публика предпочитала всему его „кадрильные разговоры“, разные „амбразуры городского управления“, „физиономии личности“, „женихов из хорошего фруктового семейства“ и т. п. Бывало, только Лейкин увлечется какою-нибудь повестушкой, как С. Н. Худков его мягко, но настойчиво, возвращает к „кадрильным разговорам“. Лейкин был довольно чувствителен к лести и, широко осклабившись на комплимент издателя, переходил на очередной „кадрильный разговор“. По внешнему виду, манере выражаться Лейкин был настоящий „апраксинец“. Коренастый, широколицый, с большим, чисто русским, мясистым носом, он сильно прихрамывал — говорят, результат неудачного прыжка в окно, в образе русского Вакха. Женат он был тоже совсем под пару, или „под кадрили“, на портнихе, Прасковье Никифоровне, маленькой, вертлявой, с носиком пуговкой. Детьми их бог не благословил, и это доставляло Лейкину сильное огорчение. Прасковья Никифорова водворила в жизни Лейкина строгий порядок. Он стал прикапливать денежки, и был известен среди литературной братии, как скопидом и богатей. Получал он, действительно, по тому времени много—до 10.000 руб. в год от „Пет. Газ.“,

да давали много издания его книжек, шедших очень бойко. К тому времени, когда я с ним познакомился, у него был прехорошенький деревянный домишко на Петербургской стороне, причем некоторые комнаты были отделаны в русско-византийском стиле; вообще, его жилище отличалось, как это ни странно, вкусом; не было в нем шаблона и трафаретности. Лейкин имел слабость к юбилеям, праздновал и 20-летия, и 25-летия, и 30-летия, и 35-летия. Без преувеличения, я раза 4 был у него в доме, в качестве юбилейного поздравителя. Литературная братия охотно писала Лейкину адреса, благо это ничего не стоило, а Лейкин устраивал отличное угощение, после молебна, которое духовенство для такого популярного человека служило с особою торжественностью. Прасковья Никифоровна надевала светлое платье и принималась хлопотать. Кулебяки у нее были изумительные, а составы напитков приводили в прекрасное настроение даже владельца такой „библиотеки“, как Терпигорев, или такого испытанного знатока и сих дел мастера, как В. О. Михневич. Прослушав довольно невнимательно соответствующие и очередные слова о „самоцветных камнях русского юмора“, все направляли взоры свои в столовую, откуда уже доносился аромат свежей кулебяки. Лейкин, красный и добродушный, кланялся и благодарил, и был необычайно счастлив. Шампанское он подавал настоящее, и хозяин в таких случаях был прегостеприимный. Кроме дома, он прикупил себе именье, где-то вблизи Усть-Ижоры, где и проводил лето, и находил там много материала для своих произведений. Помню, например, его повесть „У кирпичного завода“. Как я уже заметил, прост он был до чрезвычайности. Бывало, принесет новенькое издание свое в редакцию и говорит секретарю: „Напишите-ка заметку“. Секретарь же, в простоте газетных нравов, и притом явно отклоняя от себя почетную обязанность лейкинского библиографа, отвечает: „Да вы бы сами, Николай Александрович, написали“. „Неловко, знаете“,—отвечал Лейкин,—„да вы напишите обычное: вышла новая книжка нашего широко известного и талантливого сотрудника, Н. А. Лейкина, отличающаяся обычными искрометными блесками юмора и наблюдательности. Ну, еще прибавьте что-нибудь в этом роде.. А у самого, знаете, рука не поднимается“.

Сам С. Н. Худеков в это время газетой занимался все меньше и меньше. Его влекло неудержимо честолюбие, и

венец его он видел в должности петербургского городского головы, но это ему не удавалось: на вершок, но не донесет. Лето и весну он большею частью жил у себя в деревне в Рязанской губернии, где устроил образцовое хозяйство. Дом-особняк на Стремянной он отделал на самый барский манер, и одно время, для полноты впечатлений, решил устраивать у себя литературно-артистические субботы. Сотрудники считали эти субботы довольно неприятною обязательною службою и норовили приезжать, кто мог, часам к 12,—к ужину, который был великолепен и тонко сервирован. Кроме ближайших сотрудников газеты, бывало всегда много народу. Два два был Чехов. Пели артисты оперы, особенно Фигнер, весьма ценивший дружественную поддержку газеты. Les honneurs de la maison исполняла Н. А. Худекова, жена издателя, весьма достойная и милая, несколько институтского склада, дама. Несмотря на блеск приемов, на отличное угощение и на многолюдство этих собраний, — было тоскливо, вернее, холодно, потому что не доставало главного: внутреннего интереса. Тут не было ни политической платформы, объединявшей круг приглашенных, ни артистического или литературного темперамента, ни умственных запросов. Литературная братия втайне завидовала „майору Худекову“, так разбогатевшему благодаря успеху своей газеты, и злоязыничала по углам, льясь в „официальных“ тостах. Притом во всей особе С. Н. Худекова, несмотря на опыт жизни и дворянское происхождение, был какой-то привкус „мескинности“. Чувствовалось, что он из „разбогатевших“ и еще не вполне освоившихся со своим положением. То же наблюдалось на „суаре“ издателя „Бирж. Вед.“ С. М. Проппера, хотя все же эти последние были оживленнее. О них в свое время. Сам Худеков писал мало. Слепо веруя в то, что выше лба уши не растут, и ничего нет более прекрасного, чем традиция „Фигаро“, он пописывал маленькие статейки в 30—50 строк, подражая главным редакторам парижской газеты. Писал он бойко и размашисто. Иногда любил остроты и каламбуры, подражая опять-таки „Masque de fer“ из „Фигаро“. Из этих каламбуров у меня остался в памяти такой: „Сарданапал — с одра на пол упал“. Из меня С. Н. Худеков хотел сделать то пародиста á la Мильо из „Фигаро“, то редакционную силу, и с этой целью предложил мне вести нечто вроде полемиического обозрения, назначив за это весьма хорошее по тому времени жалование—350 руб.

в месяц. Я вел этот отдел месяца два, не больше, и отказался. И когда я теперь припоминаю свой отказ и вообще эту свою редакционную работу, то вижу, что хотя я был „so jung“, но не был „so verdorben“. Меня что-то отталкивало от редакционной связи с „Петерб. Газетой“, хоть издатель, повторяю, держал себя по отношению ко мне не только корректно, но изысканно любезно, что особенно выразилось на праздновании 25-летия „Петр. Газ.“. Празднование было довольно помпезное. В юбилейном № были помещены портреты сотрудников, и я был представлен на фотографии таким жгучим брюнетом, со столь глубокими и подведенными типографской краской глазами, что получил не мало писем от читательниц, внезапно плененных моими фельетонами. На этом портрете я, по моему, изображаю нечто среднее между Лассалем в молодости и продавцом рахат-лукума в лавке восточных сладостей.

Формально почти вся печать приветствовала юбилей газеты, но чувствовалась какая-то оглядка. Надо было говорить „bene“, ибо „nihil“ о юбилеях говорить нельзя, и все, казалось, предварительно долго думали, какое бы сказать к случаю „bene“. Впрочем, может быть, так только представлялось несколько встревоженному чувству. В памяти у меня осталось слово В. В. Комарова, сказанное с полной искренностью, потому что его слово было посвящено не литературно-публицистической стороне газеты, относительно чего с одного боку нельзя было не согласиться, а с другого — нельзя было не сознаться, — а энергии, с какой С. Н. Худеков созидал свое издательское дело. В этом отношении „майор“ Худеков, один из многочисленных представителей дворянского „оскудения“, обнаружил точно редкую настойчивость и решимость. Комаров припомнил, как Худеков заложил подушки свои и женины для того, чтобы купить бумагу для очередного номера, — и этот эпизод, на фоне общего великолепия — картин, бронзы, зеркал, ковров, и разливанного моря шампанского, являл собою художественное и трогательное пятно.

VI. Л. М. Карачунский и реформа «Минуты».

Я не порывал связей с „С.-Пет. Вед.“ и продолжал сотрудничать в этой газете, хотя она явно хирела. Вместе с тем я стал работать в „Минуте“ новой редакции, — последнее представляет любопытный эпизод в моей жизни, и вместе с тем яркую страницу для характеристики положения и роли печати того времени. Новую „редакцию“ газеты составлял некто Лев Михайлович Карачунский. Этот „основатель“ новой редакции кончил дни свои в качестве помощника режиссера Крестовского кафе-шантана, и уже из одного этого обстоятельства можно заключить, что эпизод, который я собираюсь рассказать, не лишен своеобразной красочности. Л. М. Карачунский появился на петербургском горизонте незнамо как, неведомо откуда. Это был человек много за сорок, высокий, худощавый, сильно брюнетистый, именовавший себя караимом, но явно еврейского происхождения. Вид у него был „гишпанца“ и даже отчасти дон-Кихота, но увы без идеализма последнего. Сейчас мне совершенно ясно, что это была довольно темная личность, но так как наивности моей тогда не было границ, то хотя я и видел, что он врет, как сивый мерин, однако, считал его человеком деятельным и энергичным. Он как-то ужасно быстро перезнакомился со всей газетной богемой и стал своим человеком в разных летних Эльдorado, и в вечернем приюте сладких отдохновений тогдашних журналистов — Приказчиьем клубе. Он имел вкрадчивые манеры, вкрадчивый, голос, умильно шурил глаза, и через два дня сходилась „на ты“. Мне он импонировал рассказами о французской журналистике, в которой он будто бы состоял (он, действительно, недурно владел французским языком), а также чрезвычайно авторитетными и вескими суждениями о женщинах. Одной из излюбленных тем его было рассуждение о *demi-mond'e*, и о том, что *demi monde* настолько же живо-

писен и красив, насколько проституция отвратительна и грязна. Теперь я понимаю, что в молодости он был „лихим сердцем“ в жанре М. Альфонса, и закончил свое парижское воспитание под руководством какой-нибудь кокотки de la haute volée. Но в то время я очень плохо разбирался в этих тонкостях и с большим интересом поучался у него житейской мудрости. Он кое-где пописывал — очень мало, хотя имел некоторую технику. Вернее всего, что он работал где-нибудь в южных газетах, потом его бросило в Париж, и, состарившись там для роли покровителя *demi mondain*’ок, он прибыл в Петрополь, все еще строен, как тополь, но уже значительно увядший.

В один прекрасный день среди газетной богемы разнеслась молва, что Карачунский будет издавать газету. Многие отнесли к этому слуху крайне скептически; однако, когда Карачунский стал раздавать авансы — правда, не выше 50 руб., преимущественно же в размере четвертной, — то и скептики прикусили языки. У Карачунского, несомненно, были деньги. Когда он расплачивался в „Аркадий“, — в качестве журналиста со скидкой 50%, — то любопытный глаз мог усмотреть в бумажнике даже несколько радужных. Хотя Карачунский попрежнему был необычайно любезен, но все же в обращении появилась величественность, а главное, была маска торжественности на лице. И вот, однажды, он явился ко мне в меблированные комнаты, таинственно запер дверь и, положив ангельским движением руки на плечи, сказал:

— Саша, ты мой лучший друг! Саша! Я тебе должен сказать первому: я купил „Минуту“!

Саша, т.-е. я, имевший от роду 24 года, вдвое меньше блистательного своего друга, был до крайности польщен таким вниманием. При всей святой своей невинности, я все же нашел в себе настолько сообразительности, что спросил: „Но откуда у тебя появились средства?“

Будущий помощник режисера Крестовского кафе-шантана сделал театральный жест и воскликнул, хлопнув себя по бумажнику:

— Компанион у меня уже здесь...

И, сделав искусную паузу, прибавил:

— Саша! Ведь это я только здесь Лев Карачунский, — в Париже я известный журналист. Это — один богатейший француз, Саша!.. Он мне дает 25.000 руб. Первый взнос — 2000 руб. — уже сделан.

И он мне показал пачку радужных. Затем мы углубились в разработку плана газеты, состава сотрудников и т. п. Так как газета будет „наша“, т.-е. Карачунского и моя, то и о плате мне не возникло, разумеется, и разговора. Пока на „мелкие расходы“ я получил 50 руб.

Это была все та же „Минута“ Добродеева, с которой мы уже знакомы. Хитрый мужичок, он ее подкидывал, как убыточную, кому угодно, лишь бы сохранить как-нибудь концессию, ибо концессия, по тем временам, была тот же капитал. Разумеется, Добродеев заключил с Карачунским такое условие, какого благоразумный и серьезный человек никогда бы не принял, но так как Карачунскому важно было „заварить дело“, то он совершенно философически отнесся к добродеевским условиям. Нам же т.-е. ближайшим соотрудникам, Карачунский врал и доказывал, что газета ему вполне принадлежит, только какие-то там формальности не выполнены. Эти „ближайшие“ сотрудники были три совершенных младенца в житейском смысле. Во-первых, я, представлявший из себя нечто вроде редактора, что положительно кружило мне голову восторгом; во-вторых, Вас. Серг. Лялин, писавший в „Нов. Врем.“ под псевдонимом „Петербуржец“—милый, добрый, очень честный и детски доверчивый человек, и я очень рад здесь восстановить память моего друга, о котором, как принято было вообще думать и говорить о сотрудниках „Нов. Вр.“, сочиняли ни весть что. Лялин был и даровитый, и вполне чистоплотный журналист. Он и в „Нов. Вр.“ писал, я уверен, с такой же святою, наивною верою в Суворина и добродетель, с какою отнесся и к Карачунскому. Он страдал астмой, ничего не пил, и единственною слабостью Лялина была своеобразная любовь к самому низшему сорту проституток, и потому он часто шатался по вертепам. Но на фоне журналистики того времени, уже инфильтрованной спекулятивно-дельческим элементом, Лялин был, в сущности, белой розой. И достаточно было всмотреться в его чистые синие глаза, чтобы убедиться в этом. Наконец, третьим младенцем в этой компании дураков был уже знакомый читателям Вас. Ананьевич Лебедев из „С.-Пет. Ведом.“ Тоже чистый, тоже наивный, тоже с широко раскрытыми, все принимавшими и на все доверчиво моргавшими глазами. „Редакция“, если можно так выразиться, помещалась в квартире Карачунского, на Невском, между Владимирской и Николаевской, во дворе. Вся-то квартира состояла из трех

комнат. Что же касается редакции, то она помещалась в кабинете и спальне Карачунского. Для надобностей редакции полагались две пары ножниц, клейстер, пачка бумаги и петербургские газеты сегодняшнего дня. На репортаж ассигновывалось рублей 8-12 в день, не больше. Тем не менее работа кипела. Дело было так. Отработав что нужно для „Пет. Газ“, я в 2 часа отправлялся в „С.-Пет. Вед.“ и работал там до 4 ч., причем, по возможности, воровал хронику и просматривал иностранные газеты. Затем, мигнув Лебедеву, мы с наворованным материалом мчались к Карачунскому. Карачунский встречал нас с распростертыми объятиями и подносил по шкалику хорошего коньяку—чорт его знает, откуда он добывал его! Лебедев сейчас же соловел и принимался составлять разные обязательные газетные отделы, хронику и писал нечто вроде городских набросков. Я писал: а) передовую, б) политическое обозрение, в) печать и, сверх сего, все, что можно было. Наконец, в 6 часов являлся Лялин и приносили ежедневный фельетон, а случалось, и заметку по городским делам. Карачунский писал театральные заметки и разные скандальные обличения. Помнится, было первое представление „Татьяны Репиной“, и этому событию нами была уделена целая страница. Кто ее составлял и кто писал—не помню, но знаю, что подано было горячо. Легко себе представить, как и сколько я работал. Для этого надо было иметь 24 года и необузданный темперамент, который только такая работа и могла укротить. Помню, как я однажды, не имея перед собою иностранных газет, а только на память, на основании беглого просмотра в редакции „С.-Пет. Ведом.“, дал целую страницу о выборах Буланже в Париже. Домой я уходил часов в 7-8 вечера, и это продолжалось больше месяца. Я верил твердо в звезду „Минуты“. Не знаю, как она шла. Но знаю, что даже мои 24 года не помогли бы, и я бы надорвался, если бы в одно прекрасное утро в „Прав. Вестн.“ не было напечатано краткое сообщение о закрытии газеты на 3 месяца за нарушение циркуляра Главн. Управл. по делам печати. Нарушение это касалось сообщения в „Минуте“ подробностей о ходе рассмотрения и о прениях в Государственном Совете по поводу законопроекта о земских начальниках. Версию эту я подслушал в „С.-Пет. Вед.“ и, как все там подслушанное и наворованное, немедленно тиснул в драгоценную „нашу“, т.-е. мою Карачунского, газету. Кроме сообщения, еще была статья

с эпитафией из Гейне: „Ты видишь, мой сын, эти зеленые деревья?“ „Ах, папаша, какое вам дело до зеленых деревьев!“ Тут нас и прихлопнула злодейка-западня...

Трудно себе представить, как я был омрачен этой катастрофой. Но друзья мои, более опытные и истинно ко мне расположенные, поздравляли меня с окончанием этого дурацкого эпизода. Но я страдал! Никто этого не знал! Никто не знал, что это был первый опыт моей самостоятельной работы и полу-редакторской автономии... Когда „Минуту“ закрыли, разыгрался легкий скандал с Карачунским. Открылся секрет богатого французского компаньона. Это оказался содержатель французского ресторана Контан, которому Карачунский посулил, во-первых, огромные барыши, а во-вторых, — позднюю торговлю до 5 ч. утра, так как-де петербургский градоначальник постарается ладить с представителем прессы. Кроме того, Карачунский обещал еще обличить Донона в том, что обыкновенную нашу утку он выдает-де за руанскую и т. п. По всем этим основаниям Контан дал ему 2.000 р. Когда же газету закрыли, и все эти блестящие перспективы исчезли, Контан, говорят, схватил Карачунского за борт суртука и кричал на весь ресторан: „Rendez mon argent“. Карачунский, однако, очень ловко вывернулся. Считаюсь якобы издателем газеты, он, с благословения Добродеева, перепродал ее А. А. Пороховщикову и получил еще вдобавок от последнего предложение сформировать редакцию. Таким образом, я в третий раз попал в „Минуту“. Впрочем, название было изменено вскоре на „Русск. Жизнь“.

А. А. Пороховщиков и посейчас мне представляется загадочной личностью. Т. е. ничего загадочного в нем, как мне кажется, не было. А загадочно то, что, не будучи нисколько загадочным, он мог так шуметь в Москве и прожектерствовать. Как известно, Пороховщиков в Москве был одно время, как Фигаро: и тут, и там... Он и полгорода новых домов построил, и новые ряды, и какие-то заводы, и имел финансовые, экономические и государственные проекты на все случаи жизни. Когда Пороховщиков купил газету, то говорили: „Ну, этот... о, этот!“ Но что такое был „этот“ и чем он брал, так и осталось для меня секретом. Это был хитрый старик, без сомнения, но едва ли особенно проницательный и, в сущности, нисколько не деловитый. Он поручил Карачунскому составление редакции и ведение газеты и потом удивлялся, что ничего не выходило. Позднее, он мне жаловался как-то:

— Я, ведь, почему взял Карачунского?.. Вижу, человек несколько раз прогорал на газетах и проваливал их — значит, на опыте своем познал все ошибки и уже не будет их больше делать...

Конечно, газетно-издательское дело — особое, специальное. Но познается истинный делец, „фезер“, во всем. Пороховщиков, правда, умел делать умное лицо. Он почти никогда не смотрел на собеседника, и закрывал глаза, что придавало беседе его торжественно-мистический характер. Но кого он мог обмануть этим путем? Между тем, несомненно, что по тем громадным суммам, которые ему доверяли и которые прошли через его руки, он почитался в московских финансовых кругах докой. Еще совсем недавно имя Пороховщикова появилось снова в газетах в связи с какими-то новыми прожектками. „Сколько же ему лет?“ — подумал я. Потому что и в то время, о котором я пишу, Пороховщиков казался стариком, — много за 60.

Редакция газеты помещалась в особняке на Итальянской улице, где теперь выстроен Палас-театр, и была довольно просторна и обширна. Я вел в газете „печать“ и получал, кажется, 150 или 200 р. в месяц, и так как газета вначале была вечерняя, то это дело было не легкое. Приходилось вставать в 8 час. утра и просматривать газеты, а в 10 уже сдавать в типографию. Однако, скоро эта первая, по времени, в России вечерняя газета перешла на утреннюю. Вечером никто не желал читать газет — да зачем их было читать? Да и что было читать в них? Пороховщиков завел в редакции патриархально-московские порядки: ходил из комнаты в комнату в халате, а иногда с чады и домочадцы. У него гостила дочь, Варвара Александровна, которую он очень любил, потом занималась еще какая-то племянница. Была у нас одна переводчица, Х. П. Вриони, молодая особа, очень неглупая, образованная и самолюбивая. Пороховщиков и к ней подойдет — как был, в халате — погладит по голове и скажет: „Переводите вы плохо, да мне Варя говорила, вы сиротка, ну, переводите, христос с вами!“ В общем, вся эта работа и вся обстановка напоминала мне сцены Островского из московской жизни — не то „На всякого мудреца довольно простоты“, не то „Праздничный сон до обеда“. Я вскоре на лето уехал из Петербурга, и когда вернулся, то и редакция помещалась на другом месте, и редактор был уже другой, какой-то кривой семинарист и

попович, только издательский халат был тот же. Прошел еще месяц, и в качестве верховного руководителя „Русск. Жизни“ появился некто Песис, или Пёсис, надменный помощник прис. поверенного, который повел газету в провинциально-радикальном духе. В этом виде она, кажется, имела некоторый успех среди „третьего элемента“. Я уже тогда не работал в газете: она мне успела опостылеть..

VII. Печать при Александре III.—Тишь да гладь.

Сейчас мне хочется сделать некоторый перерыв в хронологическом ходе своих личных воспоминаний, вокруг которых располагаются знакомые лица и события. Чувствуется потребность набросать хотя бы вкратце общую характеристику того времени и отражение его в журналистике. Трудно именно теперь, когда жизнь потрясена до самых оснований, когда разворочены и обнажены самые корни, и бешеный бег событий на протяжении 20 лет не дает ни отдыха, ни сроку — представить себе ту жизнь. Невольно припоминается насмешливый эпиграф, взятый Чернышевским для полемической своей статьи, направленной против Тургенева. „Ah, que j'aime cette vie, si calme et douce!“. И точно, господствовала тишь, да гладь, да божья благодать... Существовавшая для охраны порядка в области идей и настроений, „без лести преданная“, печать, вроде „Гражданина“ кн. Мещерского, сама не знала, что ей, собственно, предпринять, и в какую, если можно выразиться, враждебную икру вцепиться. Заводили иногда и полемику, но по пустякам, и так как это были пустяки, то быстро отставали. По части „выдумывания вопросов“ большим искусством отличалось „Новое Время“. Так, особенно „удачно“ газета провела кампанию насчет маргарина. То ли против завода маргаринового, то ли против открытой продажи маргарина, но месяца 1^{1/2} — 2 маргарин заметно оживлял газетные столбцы. Иногда, когда уж было томительно и жарко, как в июльский длительный зной, милосердное небо посылало какой-нибудь легкий дождик: проворовывался думский деятель или подрядчик, или происходило в романической обстановке убийство из ревности. Тогда все газетчики несколько дней, а то и недель, дышали полной грудью и пели дружным хором: „Золото, золото падает с неба!“ В остальное же время вздыхали и лениво

мечтали, как девица у Островского: „Все одно и то же, да одно и то же! Хоть бы дом сгорел, али папенька помер“. Из таких оживляющих и животворных моментов припоминаю скандал с мукой Пухерта, поставленной городу, в каковой муке оказалась изрядная доля кукельвана; убийство артистки Висновской в Варшаве, драму ревности в гостинице „Европа“ и т. п. Тут гремели витии, и перьям был предоставлен простор. Приезжали еще в гости — то был медовый месяц франко-русского альянса — французские эскадры, и тогда писались статьи о „прекрасной Франции“, о „цветах Франции“, а французы кричали: „vive l'empereur russe“, что злые языки переиначили в „vive l'emprunt russe!“. Писали еще о промышленности и торговле, причем Д. И. Менделеев доказывал, что Россия может производить, при надлежащих ставках протекционного тарифа, „все, кроме перца“; ему же возражали, что у нас нет культуры, и потому никакие тарифы не помогут. Тогда вмешивался enfant terrible реакционной печати, кн. Мещерский, издававший ежедневный „Гражданин“, и объявлял — текстуально, — что „России культура не нужна, а нужно обучение во всех видах техники“. Перчатку поднимал Суворин, т.-е., собственно, не поднимал, потому что отличительным свойством его публицистического жанра была уклончивость, и писал, что наши промышленные неудачи — результат классического образования. „Но ведь я же и говорю, что суть в обучении во всех видах техники!“ — восклицал кн. Мещерский, — „это одно и то же“. — „Нет, не одно и то же“, — мягко, и нашим и вашим подмигивая, писал Суворин, — „я ведь про классическое образование... гм! — что вы на это скажете?“ Но тут выступил Грингмут, за смертью Каткова принявший венец и бармы „Московских Ведомостей“, и писал апологию классицизма...

Еще писали о выставках, по поводу балов, о романах Боборыкина, о спиритизме. Пожарная выставка давала одной стороне — стороне „либеральной“ — возможность настаивать на деятельности земств, в смысле распространения огнетушительных машин, возведения огнеупорных построек и обязательном взаимном страховании, другой же стороне — консервативно-реакционной — предоставляла случай философствовать в духе Кифы Мокиевича о том, что причина пожаров, хронически истребляющих Русь, — это небрежное отношение кучеров, дворников и пр. к своим обязанностям. Кучера сплошь и

рядом отправляются на сеновал с трубками в зубах—долго ли до греха? Но ежели предоставить земским начальникам, с одной стороны, пороть нерадивых кучеров, а с другой — награждать, вплоть до серебряной медали на станиславской ленте, — то пожары прекратятся сами собою. Самое трудное было найти тему для очередной статьи или очередного фельетона. И даже не от цензуры это зависело, а от того, что ничего не случилось, что как в записках Поприщина говорится, „день был без числа“. Вот почему, кстати сказать, газетный фельетон в то время лучше всего обслуживался беллетристами, умевшими, вследствие особенностей своего художественного зрения, находить в текучем однообразии дней некоторые интересные штрихи и черточки: таковы были, напр., П. П. Гнедич, Н. Морской, прошумевший своим фельетонным романом „Аристократия Гостиного Двора“, и особенно И. Л. Щеглов (чеховский Жанчик), выдумавший — да будет благословенно имя его — „дачного мужа“.

Собственно говоря, писали лениво, отбывая обязанность и загораясь разве при личных схватках. И точно, как все это было далеко от непосредственных живых интересов! На почве этой общей скуки, лености и беспечально-сытого существования совершенно понятен был успех толстовских идей. „Крейцера соната“ была и в достаточной степени цензурна, и вполне соответствовала разрешению проблем, связанных с убийством в гостинице „Европа“. Vegetарианство — почему не помечтать о нем, когда говядина первого сорта стоит 12—14 копеек фунт? „Неделание“, — но как-будто и впрямь мы ничего не делаем.. В сущности, толстовская проповедь была органическим продуктом застоя. Из этого застоя она возникла, и в застой превращалась в своем коловращении. Жизнь дремала, как выжженная зноем степь или пустыня, и над ней висел полог необуддизма в транскрипции Толстого. День не знал конца. Казалось, это не годы, десятилетия, века... „Гатчинский отшельник“ всем видом своим — видом русского исполина—сулил жизнь долгую и бразды правления держал крепко. По случаю частых поездок его из Гатчины в Петербург провели электрическое освещение по Фонтанке, Измайловскому проспекту и Невскому, и проложили торцовую мостовую. Жилось спокойно, как нынешним изголодавшимся и иссохшим современникам, живым мощам на костылях, и не снится. Толстовские идеи, во всяком случае, представляли едва ли не

единственное метафизическое бродило того времени. Марксистский материализм, закруживший голову дальнейшим поколением, еще только нарождался, и в литературе и публицистике не имел серьезного отклика. Народовольчество умирало. Народничество впадало в толстовство...

Это время было зенитом старого режима и старой России. Для того, чтобы увидеть этот зенит, достаточно было бывать по субботам в Михайловском театре. Тут было „Rendez-vous du monde élegant“, — как потом выражались садовые афиши, печатая внизу: „вход 50 коп.“. Ложи были унизаны знатно, дамами света и дипломатическим корпусом. В последнем выделялся испанский посланник, маркиз Камподисаградо, добродушный толстяк-бонвиван, переходивший из ложи в ложу и приветствовавший прекрасных дам. Особенно окружена была красавица в русском стиле, родная сестра М. Д. Скобелева. В партере сидели офицерство, чины, имевшие въезд ко двору, а позади, в местах за креслами, пребывала в то время еще не очень обширная, русская интеллигенция. На балконах и в верхних ложах неистовствовали поклонники черноусого Гитри, маркиза Бельваль, игравшего, и довольно посредственно, под именем Вальбель, златокудрой Анжель и черной, как галка и сухой, как паяка, Лины Мент. А в директорской ложе, улыбаясь умно и тонко, сидел И. А. Всеволожский, обдумывая очередной каламбур, над которым высочайшие особы будут мило-стиво смеяться. Последний обломок старого барства, он говорил: „Ах, эта русская жизнь! Из русской жизни я знаю одно — что у меня было 8 миллионов, а теперь нет ничего“. После спектакля начинался разъезд. Публика попроще разъезжалась на извозчиках — за 40 коп. на Пески или к Покрову, а пошικарнее — в своих экипажах из французского театра во французские рестораны. Кутежи у Кюба с участием высоких и высочайших особ были обыденным явлением. Однажды великий князь Владимир Александрович подрался, или чуть было не подрался, с французским актером. Приезжал градоначальник, разбудили, кажется, Дурново по должности не то директора департамента полиции, не то товарища министра внутренних дел. Доложили государю, который сделал резолюцию: „Выслать актера и удалить на время великого князя“,

Летом место Михайловского театра занимала известная уже нам гостеприимная Аркадия. Там *mait'om des plaisirs* был в некотором роде знаменитый и по сей день здравствующий

Рауль Гюнсбург. Этот совершенно каучуковый человек, обер-вральман и с обезьяноподобным лицом и гутаперчевой эластичностью, в течение нескольких лет был своего рода Леонардо да-Винчи при петербургских Медичи и Сфорца. Прошлое Рауля Гюнсбурга темно и загадочно. По всему можно думать, что он был из одесско-румынских или румынско-одесских евреев. Он свободно, хотя с жестким выговором—un accent belge, как выражаются парижане,—говорил по-французски; по-русски же говорил дурно, и притом еще, для вящего шику, как многоопытные профессора „черной и белой магии“, намеренно коверкал русские слова. Я его помню еще куплетистом и рассказчиком на открытой сцене Зоологического сада и Демидова сада (ныне „Луна Парк“, в просторечии именовавшийся Демидрон — отсюда „Краса Демидрона“ у Щедрина), где он показывал, как человек с насморком читает газету, или же, надувая щеки, изображал фейерверк. Потом он вкрался в доверие богомольного еврея Шлиомы Береза (M. Charles Beréze, как его рекомендовал Гюнсбург), тогдашнего антрепренера „Демидрона“, и устроил в зимнем помещении театра французскую оперетку. А через год перенес свою деятельность в „Аркадию“, где держал несколько лет французскую оперу и оперетку, очень ловко привлекая французских артисток и артистов всяческим враньем о „boyards russes“, тонях, кутежах и пр... Он сумел сделать свой театр излюбленным местом для всего Петербурга. Вы там могли встретить великих князей (особенно часто бывал Николай Николаевич), бар. Фредерикса со всей придворной знатью, всех гвардионцев, весь demi-monde. Хорошенькие французские артистки, вроде оперной Вильом, находили своих „boyards“; Гюнсбург же врал, чванился, „делал франко-русский союз“ и богател... Такого необузданного полета вральной фантазии, как у Гюнсбурга, я не встречал в своей жизни. Он не только был главным осведомителем Форы при заключении „альянса“. Он служил также в папской гвардии. Он предводительствовал эскадроном в Тонкине. Он охотился на слонов в южной Африке. Он и играл на цимбалах в присутствии его величества короля сиамского. Врал он так да врал, и в результате доврался до того, что завоевал солидное положение в театральном мире Франции, мечтал о директорстве в Grand Opéra и папа Сарсэ посвящал ему целые артикли, хотя, казалось бы, гасконады Тартаренов из Тараскона должны были приучить французов к гинсбург-

адам Раудей из-под Бендер. В общем, однако, Гюнсбург был обходительный, живой, подвижной, как ртуть, человек, и он, несомненно, сумел сблизить летнее петербургское общество. Тянулись экипажи на Стрелку в погожий петербургский вечер, и нарядная публика наблюдала действительно прелестный наш закат на меланхолическом фоне северных вод. А со Стрелки сворачивала к Раулю Гюнсбургу. А от Рауля заезжала к Фелисьену. Это был ритуал петербургского бо-монда.

Когда я теперь оглядываюсь на это время, на весь этот, такой незыблемый, такой, казалось, несокрушимый строй жизни, то с трудом как-то представляю себе катастрофу, поглотившую старую Россию. Говорят, будто девиз „ancien régime'a“ во Франции был — „après nous le déluge“. Но никто не думал у нас о потопе, о возможности потопа в то время. Если Плеве хвастался, что на сорок лет отодвинул революцию, то и для него „революция“ и „потоп“ едва ли были синонимичны. Но уже совсем никакие мрачные мысли не закрадывались в головы тогдашнего общества. И если были все же фармазоны, „щелкопёры и бумагомараки проклятые“, которые мечтали о революции в более или менее отдаленном будущем, то, конечно, в самом благопристойном виде — о чистенькой, умытой, причесанной революции, проводимой под руководством опытных гувернеров. „Tenez vous droite!“ — говорят гувернеры из интеллигентов революции, и она чинно идет на указанное ей место. Но и это было „пленной мысли раздражение“, ибо достаточно было встретиться с разъезжавшим на паре серых с яблоками, генералом Грессером для того, чтобы почувствовать под собою твердь, подобную граниту. Ген. Грессер был тот немец с „чисто-русской душой“, о котором говорится где-то у Щедрина. Сухой, холодный, со стальными глазами и жестким голосом, он был удивительно похож на портреты военных немцев из „Симплициссимуса“. Я не знаю в точности его карьеры. Говорили, что он был раньше не то приставом, не то полицеймейстером в Житомире. Кем бы он ни был в прошлом, но по прямой линии генеалогия его восходила к Дубельтам и к Бенкендорфам. Это был последний могикан, так сказать, в духе старого николаевского режима. После него промелькнуло много градоначальников в Петербурге, и тоже из немцев — фон-Валь, фон-дер-Лауниц и пр., — но такого уже не было. Пафос николаевской полиции, еще не изжитый „эпохою великих реформ“, как при-

нито было выражаться на либеральном жаргоне того времени, весь вылился в Грессере. Взятчиком он не был—в вульгарном, по крайней мере, смысле слова, потому что был поэт полицейщины. Он любил свою полицейскую каланчу, любил полицейскую семью, и, вроде того, как старые солдаты с убеждением пели — „наши жены — ружья заряжены“, — его женой, его музой был полицейский свисток. И точно, Сердечкиным его никак нельзя было назвать, хотя всем был известен его бывший, во времена, впрочем, прошедшие, до-петербургские, роман с видной петербургской антрепренершей, В. А. Линской-Неметти. Линская-Неметти, дама энергичная и весьма деловитая, сумела использовать благодарные воспоминания немца с русскою душою. В то время украинский, как его называют, а по прежнему наименованию, малороссийский театр подвергался всяческому ограничению, запрещению и преследованиям. В Петербург въезд ему был строго запрещен. И вот, Линской-Неметти удалось получить от Грессера разрешение на устройство малороссийских спектаклей. Она выписала труппу Кропивницкого с Садовским, Саксаганским и Заньковецкой и открыла спектакли в так назыв. зале Кононова (впоследствии отель „Регина“), близ Полицейского моста, на Мойке. Успех был колоссальный — во-первых потому, что это было ново, во-вторых потому, что это было ранее запрещено и, в третьих потому, что это было очень немудро, а среди актеров, точно, имелись талантливые люди. К успеху быстро примазался и, в свою очередь, очень ему содействовал А. С. Суворин. Он захлебывался от восторга и до конца дней своих числился и значился любителем, аматером и покровителем украинского театра. Особенно превозносил он Заньковецкую. Что Заньковецкая обладала сильным драматическим талантом — спору нет. Но в суворинских рецензиях было много еще искусственно подогретого: в лице Заньковецкой он продолжал свою „апотеозу“ Стрепетовой, истерический талант которой он всячески старался вознести над глубоким реализмом и чеканным искусством М. Г. Савиной.

Украинские актеры понравились также и высочайшим особам, и в результате брюзжание победоносцевского и катковского кружка, пуще огня боявшегося каких бы то ни было проявлений „самостийности“, не имело для дерзнувшего Грессера дурных последствий. Только на студенческих вечеринках чаще стали мелькать вышитые малороссийские рубашки,

да горластее стали петь: „Гей, ты Днепр широкий“ и „Ой, казала мне мати“.

К искусству, вообще, Грессер был, конечно, глубоко безразличен, да едва ли и чувствовал какую-нибудь в нем потребность. Он бывал в театрах, потому что высочайшие особы ездили в театр, и следовательно надобно дежурить. Единственною слабостью его был пожарный оркестр. Так как вообще, пожарная часть издревле составляла излюбленную отрасль градоправителей, то естественно, что и Грессер весьма был озабочен состоянием пожарной команды, и вместе с тем часть его милостей распространилась и на имевшийся при пожарной команде оркестр. Оркестр этот, точно, был хороший, сыгранный. Капельмейстером состоял тоже добрый немец и, кажется, недурной музыкант, Миллер, говоривший по-русски... да почти никак по-русски не говоривший. Я познакомился с Миллером в саду „Аркадия“, где оркестр его каждодневно играл на эстраде. Миллер, как настоящий немец, обожал начальство, и никогда, разумеется, никакая оппозиционная мысль не могла бы шевельнуться в его душе. Тем не менее однажды он уселся за мой столик, на веранде, с мрачным видом и выпил залпом, одну за другой, две кружки пива, отчего его красное лицо еще более побагровело. Затем сказал, пристукнув по столу:

— Этий генераль... Этий Грессер!.. Ах, этий генераль!..

Грессер был в этот вечер в „Аркадии“ и внимательно обошел аллеи, окидывая начальническим оком все закоулки, даже, кажется, в писсуар заглянул.

— Что же генерал-то?—полюбопытствовал я.

— Ах, этий генераль... Ви понимает, ми играль увертюр из „Тангейзер“... Ви слыхаль?.. Ну, и Вагнер, ви понимает, *der grosse Musiker*, он написал в партитур три *fff*... Ви понимает—три *fff*? *Fortissimo*, ви понимает? Ну, и генераль не понравился, и он мне кафариль: зачем *so laut gespielt*? Я кафариль: *excellenz*, там три *fff*... Там, в партитур, не два, а три *fff*... Но генераль... он биль... *sehr unzufrieden*... и кафариль: не играйт так громко, я приказаль, не играйт так громко... А в партитур—три *fff*, ви понимает?..

Он был в полном отчаянии, и не столько потому, что должно было пострадать музыкальное выражение вагнеровской музыки, сколько потому, что столкнулись два начальственных предписания: партитура Вагнера, с одной стороны, и приказ по полиции—с другой. И то, и другое—начальство,

и ему, Миллеру, у которого был свой король в Баварии, надлежало разрешить начальственное пререkanie, сохранив пиетэт к начальственному авторитету вообще.

Грессер внушал такой страх и трепет, каких уже старый режим после него не знал. Он был — все. Он был как Аракчеев при Александре I, как шиогун при микадо. Дальше Грессера не заходило обывательское воображение. Тут завершался круг, тут увенчивалась вершина. Обыватели попроще не говорили „градоначальник“ или „Грессер“, а называли его „генерал“. Генерал — только и всего. Единственный, незаменимый, все в себе совмещающий, генерал... И точно, он как нельзя лучше символизировал время. Круг его идей и понятий в совершенстве соответствовал кругу идей и понятий, в которых жил Александр III и который этот венценосец источал. Я видел Александра III близко только один раз (также и Николай II вблизи видел лишь однажды), но этого раза было совершенно достаточно для того, чтобы составить, по его экстерьеру, более или менее ясное представление. Было это на юбилее училища правоведения. Я совершенно не понимаю, почему В. Г. Авсеенко пришла мысль поручить мне описание этого юбилея. Пришлось выполнить поручение. Я долго сначала искал фрак и галстук. Вероятно, был очень смешон и забавен во фраке. Не могу забыть взгляда, каким меня при этом окинул почетный попечитель училища принц Ольденбургский. Поднимаясь по лестнице, я был предметом слишком бесцеремонного внимания со стороны правоведов, пропускавших почетных гостей. С меня сошло семь потов, пока я, наконец, поднялся в актовый зал. Зато я был вознагражден с избытком, так как, по непостижимой игре случайностей и по капризу толпы, оказался буквально в двух шагах от царя. Я простоял около него в церкви всю службу и имел возможность вдосталь на него насмотреться. Рядом с Марией Феодоровной, Александр III представлял разительную противоположность. Она производила впечатление незначительной женщины — только и остались в памяти ярко блиставшие на солнце румяна и белила. Мария Феодоровна плохо гриммировалась, или поставщики ее косметик бессовестно ее обманывали. Неумело и наивно лежали притирания на ее лице, делая его похожим на парикмахерскую куклу. Маленькая, худенькая, она едва доходила до плеча Александра III. Это был настоящий богатырь. Светлые глаза, с наигранным благодушием взора, под которым чувствовалась

упрямая воля, красивая белокурая борода, плечи косая сажень — ни дать, ни взять, купец Калашников. По Петербургу одно время ходило крылатое слово, приписываемое Бисмарку и сказанное про Александра III: „Я не знаю, чего он хочет, но он сильно этого хочет“. Уравновешенный характер, твердость воли, спокойствие уверенности обычно сопрягаются с узостью кругозора и ограниченностью желаний. Александр III жил и мыслил как „добрый помещик“ из аксаковской „Семейной хроники“. Философиями не задавался и принадлежал к тем, по своему, счастливым организациям, о которых Пушкин сказал:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто во-время созрел...

И как гласит — в нецензурном варианте — последний стих;
Кто водку пьет и в бога верит...

Пил Александр III водку, действительно. Но и пил он по-хозяйски, без всяких признаков алкоголической жажды, методически, без излишеств, как водится, перед трапезой. Вина употреблял легкие — исключительно крымские. Колол дрова. Отвергал медицину. Нефрит, сведший его, богатыря, в могилу, — одно из обычных осложнений инфлюэнцы, исчезающее весьма быстро при надлежащем лечении, оказался у него безобразно запущенным, потому что он продолжал, несмотря на недомогание, свой обычный режим, и водку пил, и в отца Иоанна Кронштадтского больше верил, чем в „качественный анализ“ почечных выделений. Он стал лечиться лишь тогда, когда разрушение почек уже ничем не могло быть остановлено. Кн. Мещерский, подыгрывавшийся под вкус своего венценосного читателя, также упорно отвергал „официальную медицину“. Гомеопатия, тибетская медицина, вода Вревского находили всегда покровительство на столбцах „Гражданина“. Был еще какой-то самодельный врачеватель, некий Гачковский, лечивший особою жидкостью, которая, по произведенному анализу, оказалась простою водою. Эту воду, однако, иной раз настолько небрежно разливали, или, быть может, с чем-нибудь смешивали, что генерал Грессер умер от заражения крови, после впрыскивания лекарства названного знахаря.

Патриархальная простота, „долой медицину“, водка и квас за обедом, пироги по воскресеньям и „постное по середам“, земские начальники и сонм губернаторов — „хозяев губерний“, —

все сливалось в некоторое единство. С воцарением Александра III — отмечаю характерный штришок — соблюдение великопостного режима стала обязательной модой в петербургском „свете“. В самых фешенебельных ресторанах появились два расписания кушаний — скоромных и постных. Грибы, горчичное масло и т. п. деликатесы постного стола сразу возросли в цене. Александр III сам кушал постное, но к столу подавалось и скоромное. На одном из небольших обедов, в присутствии самого ограниченного круга приглашенных, Мария Федоровна обратилась к вкушавшему скоромное И. А. Всеволожскому, с замечанием:

— Разве вы не православный?

На что И. А. Всеволожский ответил:

— Конечно, ваше величество, я православный, но мой желудок протестант.

Чему, т.-е. такой форме протеста, много смеялись. Сытно пообедав, запив обед кваском и бражкой со льдом, царь ложился спать. „В высшей степени цензурная“ печать, исполняя роль крепостного казачка, усердно отгоняла мух, чтобы не обеспокоить спящего. А иной раз царь брал корнет-а-пистон и разыгрывал на нем немудрые пьесы. И это тоже был замечательный штрих в общей картине.

Так шли дни, месяцы, годы. Шли необыкновенно быстро. Шопенгауэр очень верно пишет где-то, что всего быстрее проходит время в тюрьме, вследствие однообразия впечатлений, содержанием и числом которых и измеряется жизнь. Мне лично кажется, основываясь на воспоминаниях о смене событий, которые, что версты полосатые, отмечают дорогу жизни, что я дольше жил в зрелом возрасте, чем в эти молодые годы.

VIII. Московская журналистика.—В. М. Дорошевич.

Кажется, в 1890 году началось мое сотрудничество в московской газете „Новости Дня“. Я стал там работать в качестве петербургского фельетониста, потом почему-то прервал работу, а затем вновь начал писать по специальному приглашению заведывавшего редакцией газеты А. С. Эрманса. Газета находилась тогда в затруднительном положении, вследствие перехода В. М. Дорошевича, имевшего блестящий успех, в „Московский Листок“ Пастухова. Говорили о том, что Пастухов „переманил“ Дорошевича на необыкновенных, чрезвычайных условиях—тысяч на 10 в год. „Новости Дня“, вошедшие в моду, переполошились, стали искать сотрудников, могущих, в большей или меньшей степени, заменить В. М. Дорошевича, и остановились, между прочим, на мне. Положили мне кажется, 7 коп. за строку, что тогда почиталось гонораром важнейшим, и я стал писать за подписью „Квидам“ петербургские корреспонденции. Это должны были именно быть корреспонденции, потому что в „программе“ газеты отдела „Петербургский фельетон“ не было, цензура же, вообще строгая и особенно придирчивая к „Новостям Дня“, блюла за тем, чтобы не было отступления от „программы“.

Трудно себе представить, до какой административной схоластики доведено было положение печати в то время. Издателем „Новостей Дня“ был Абрам Яковлевич Липскеров, и одного этого уже было достаточно, чтобы усугубить всяческие придирки цензуры. Липскеров получил концессию на газету, благодаря М. Н. Каткову, у которого он состоял судебным репортером. Был он приятный, добродушный человек, очень нравившийся Каткову и без лести ему преданный. И вот однажды, в начале 1880-х годов, Михаил Никифорович, бывший в хорошем расположении духа, спросил Липскерова:

— Абрам Яковлевич, хочу я тебя наградить за верную службу. Скоро я помру, и надо бы тебе помочь. Хочешь, я тебе потомственного почетного гражданина исходатайствую?

Абрам же Яковлевич, про которого сплетничали, что не имея „права жительство“ в Москве, он якобы приписался к портновскому цеху, сказал:

— Михаил Никифорович, что мне гражданство? Зачем мне гражданство? Что, я из него суп сварю для моих деток? У меня есть одна просьба к вам, только не знаю, сделаете ли...

— Ну, говори, что?

— Попросите, чтобы мне разрешили газету...

Михаил Никифорович потрепал своего „Абрашу“ по плечу и сказал:

— Ишь ты, чего захотел! Ну, да уж бог с тобой, пиши прошение, завтра я еду в Петербург, так передам Феоктистову.

Абрам Яковлевич, не слыша ног под собой, побежал домой и, запершись в кабинете, стал писать „прошение“. В прошении должна быть упомянута „программа“, по которой газета издается. А программа, это—паспорт, и ежели каких-нибудь „особых примет“ в паспорте нет, то и физически они существовать не могут. Отсюда понятны затруднения Абрама Яковлевича, излагавшего „программу“. Что он твердо знал, это—пункт о судебных отчетах. Поэтому на первом месте он написал: „Судебный отдел; отчеты о заседаниях судебных мест, мировых судей, с'ездов, окружных судов, судебных палат, правительствующего сената, отделений и общих собраний кассационных его департаментов“. Что же дальше? Он еще знал „хронику“, потому что давал заметки и в хронику. Потом „роман“—непреренно „роман“, и даже „роман-фельетон“, так как Пастухов, издававший „Московский Листок“, с которым ему надлежало вступить в состязание, на романе „Тайна Брынских лесов“ и составил тираж газеты. Затем Абрам Яковлевич вспомнил, что, если из родного города, Бахмута или Мелитополя, будут писать корреспонденции, то там это вызовет сенсацию, и потому твердой рукой вписал—„корреспонденции“. Он еще знал, что существуют объявления и отдел театра, дающий много объявлений, и какой-то еще отдел „Смесь“, где печатаются петитом разные занимательные вещи. Больше он ничего не мог припомнить, да большее ему и не представлялось нужным, и в таком виде „программа“ поехала в Петербург, где уже механически вставили в „программу“ „правительственные распоряжения и узаконения“. Что может быть шире такой „программы“, и какой Пастухов устоит против нее?

Разрешение на газету Липскерову дали, так как отказать Каткову было невозможно, но Феоктистов, а еще более Адикаевский, сокрушенно приэтом вздыхали. И когда Катков умер, и Липскеров лишился покровителя, началось не то, что преследование, а изымательство над Липскеровым и его газетой. Так как в „программе“ статей не было, то никаких статей нельзя было печатать. Фельетон мог идти только под рубрикой „День-за-день“. Мои фельетоны печатались, как корреспонденции, под заголовком „Петербург. От нашего корреспондента“. Но самое убийственное для Липскерова было то, что, с ростом своего благосостояния, он пристрастился к спорту, и даже завел не то рысистую, не то скаковую конюшню, отдела же „Спорта“ не было, и потому отчеты о бегах и скачках, если и помещались, то в отделе „Корреспонденций“; „Скаковое поле“ (от нашего корреспондента), в таком, примерно, виде: „Наша местность, усердно посещаемая москвичами, была вчера весьма оживлена, благодаря устроенным у нас скачкам. В первой скачке участвовали следующие лошади... Первою пришла такая-то, второю „легко в руках“ такая-то, третьей такая-то; впереди остальных (а скакало всего четыре лошади) шла лошадь А. Я. Липскерова „Виктория“.

О деяниях цензуры в „Новостях Дня“ можно было бы написать 101 том воспоминаний. Были цензоры просто глупые, были хамоватые, были пьяные... Так, один из последних, цензуруя пасхальный номер газеты, в каком-то рассказе, где действующим лицом был дьякон, зачеркнул везде „дьякон“ и написал красными чернилами „репортер“. Выходило приблизительно так: „облекшись в ризу, репортер густой октавой стал читать апостола. Батюшка посмотрел на репортера искоса и подумал: „Чего-то это наш отец-репортер старается? Надо быть, дьяконица хорошо вчера отцу-репортеру намылила голову“.

Как это ни странно на первый взгляд, но, чем больше цензура изымалась над Липскеровым и теснила газету, тем лучше она шла. И, пожалуй, было тут многое действительно ей на пользу. Статьи по тому времени могли писаться только скучные и вялые; предметы, подлежащие обсуждению в статьях, были как раз те, которые наименее интересовали читателя. Но—„noblesse oblige“—нужно было писать и печатать эти статьи. „Новости Дня“, однако, физически были лишены этой возмож-

ности. С другой стороны, отсутствие программы заставляло, вообще, избегать шаблона и понуждало стараться о том, чтобы занимательность, бойкость и живость изложения проникали в те отделы программы, кой были дозволены. Поэтому печатались интересные и разнообразные заграничные и русские корреспонденции, живые и остроумные отчеты, рефераты и т. п.

В. М. Дорошевич со своим свежим и ярким остроумием много сделал для успеха газеты. Хотя я никак не мог признать за собой такого бойкого остроумия и юмора, какими отличался, в то время особенно, В. М. Дорошевич, однако, скажу без излишней скромности (тем более, что все мои тогдашние писания теперь представляются мне ужаснейшим вздором), что и я, по уходе В. М. Дорошевича, был весьма полезен газете и крайне „читабелен“. Писал я статьи и корреспонденции за час до отхода курьерского поезда в Москву, держа перед собою часы и следя за минутной стрелкой. Писал, не думая или очень мало думая. И странно, что, чем менее вникал в то, что пишется и что выходит, тем как-будто выходило бойчее и легче. Это — особый жанр, „неглиже с отвагой“, и он удается только в молодости, когда сам чорт тебе не брат, и жизнь, быстро бегущая, очнуться вам не дает. Как только уясняется уму связь событий, и расширенный кругозор смягчает резкость контрастов, так пропадает смех. Старики, вообще, смеются сравнительно мало. И это не только потому, что у молодежи сильнее физиологическая потребность смеха, а и потому, что молодежи кажется смешным—только смешным, не чем иным—многое, что пожилым людям вовсе смешным не кажется, так как перед их взором выступает объективный смысл явления. Дикари смеются над тем, как люди пишут. И действительно, если не понимать, почему и зачем люди водят по бумаге палочкой с таким серьезным видом, то это должно казаться смешным. Смешно, потому что бессмысленно.

Отнюдь не собираюсь умалять значение смеха. Наоборот, юмористическое настроение есть подлинно—дар небес, радостная форма приятия мира. Я хочу лишь сказать, что смех легче дается, когда человек молод и дурачится, и с трудом приобретается, когда человек поживет и отвык, да и не может, дурачиться. А читать эти милые глупости и впивать в себя юмористическое настроение—чрезвычайно приятно, и едва ли нужно

удивляться, что В. М. Дорошевич имел такой успех, а за ним и юмористы не столь специальные, что ли, как А. В. Амфитеатров или я.

Все мы, приблизительно, выступили одновременно на газетном поприще. Вслед за переходом Дорошевича в „Московский Листок“, „Новости Дня“ приютили, кроме меня, А. В. Амфитеатрова, который до этого, кажется, писал в кавказских газетах, после своих не совсем удачных дебютов на тифлисской оперной сцене. Познакомился я с Амфитеатовым, если память мне не изменяет, у Эрманса, редактировавшего „Новости Дня“. Помнится, мы завтракали, и Амфитеатров поразил меня своим аппетитом—к завтраку, к жизни, к природе... Он был воплощением аппетита. Писал Амфитеатров и тогда размашисто, крепко, богатырски. „Новости Дня“ в этом отношении были замечательной газетой, ни чем никого не стеснявшей. Однажды, приехав из Петербурга в Москву и ночуя в кабинете А. Я. Липскерова, который меня очень любил и ласкал, я был свидетелем того, как Липскеров читал газетные гранки, доставлявшиеся ему поздно вечером. Он сидел в халате и покряхтывал. Я, как говорится, уже готовился смежить очи, когда А. Я. обратился ко мне со словами: „Что написал! Ах, что написал!“ „О чем вы, А. Я.?“—спросил я. „Ах, вот посмотрите! Амфитеатров об открытии „Эрмитажа“. И он протянул мне гранки. Действительно Амфитеатров расписался столбца на четыре. Амфитеатров, вообще, расписывался и был много-речив и много позднее, сотрудничая в „Руси“ А. А. Суворина и вытесняя своими необъятными фельетонами всех сотрудников, он говаривал, повторяя чей-то афоризм: „У меня слишком мало времени, чтобы писать кратко“. В статье об „Эрмитаже—увеселительном саде М. В. Лентовского,—было все—„любовь, страданье, упрек с последнею мольбой и безнадежное прощанье,—прощанье с жизнью молодой“.—Были уподобления, были сравнения, был блеск, была ирония, было нечто из гейнцевских „Флорентинских ночей“ и из Алексея Толстого. Бесспорно, весьма талантливо, но так как все же это было только открытие шато-кабака, а не второго московского университета то, посопев носом, Абрам Яковлевич сказал: „Замечательно, что я плачу гонорар за это, а не мне за это платит „Эрмитаж“!“

Однако, о чем же еще можно было писать? Однажды, по поводу какой-то очень хлесткой юдофобской статейки

в „Новом Времени“, помнится, В. Г. Авсеенко очень метко выразился в разговоре с сотрудниками:

— Кроме, как против евреев, ни о чем нельзя писать свободно. Оттого „Новое Время“ и юдофобствует.

Так, может-быть, большая часть пишущей братии, т.-е. по соображениям того же рода, полала в театралы, в спортсмены и т. п. Надо же было о чем-нибудь свободно писать и проявлять в полной мере свой темперамент. Пресса рассматривалась под углом зрения того легкомысленно-строгого генерала из тургеневского „Дыма“, который дал якобы понюхать набалдашник „фоликулеру“, шелкоперу, и приэтом сказал: „avec l'Orphée dans les Enfers le progrès a dit son dernier mot“.

Чем газета была откровенно бойчее, тем она была „цензурнее“ и желательнее. И можно ли удивляться, что ум, дарование, и темперамент молодого поколения литераторов, попавших в газеты, уходили на бойкое, но по существу, безликое „ничто“. Как мне кажется теперь непонятным, что я писал весь этот бойкий вздор, так, должно быть странными показались бы иные грехи молодости Амфитеатрову, если бы он их перечитал теперь (а, может-быть и перечитывает, когда не спится?). Дорошевич в нашей троице отличался тем, что, по несравненному своему юмору и по качествам своего дарования, а может-быть, и характера,—особенно легко, привольно, и притом до конца своей литературной карьеры, чувствовал себя в этой сфере пустяков и милого вздора. Я не знаю, можно ли про Дорошевича сказать: „кабы да ежели бы...“ Он был тем, чем был, и не мог быть иным. Я уже как-то упоминал, что почти все, впоследствии известные и даже славные писатели начали с юмористических журналов, и, как одна знаменитая французская актриса, указывая на спальню, так большее число литераторов, указывая на редакцию юмористических листков, могли бы сказать: „Il faut passer par là“. Но у Дорошевича „Будильник“ и „Развлечение“ были в крови. Он прежде всего сам радовался неожиданностям и скачкам своего остроумия. Человек с хорошим задатками, он был сильно помят жизнью еще в молодости. Свою мать—популярную, бульварно-газетную романистку Соколову—он не любил. Об отце его никто, кажется, ничего не знал. Его первый псевдоним—еще до „Дяди Власа“—был „Сын своей матери“. Чуть ли не с гимназической скамьи—блестящий успех среди московской полукультурной черни. Москва того времени кишела

такой чернью, и таковой же, за ничтожными исключениями, была и московская литературная среда. Дорошевич был вообще, истый сын Москвы. Крупного сложения, широкоплечий, с большим ртом, мясистым носом, близорукими глазами и раскатыстым голосом, он походил несколько на Собакевича. Около каждой церкви мелко-мелко крестился, любил покушать, отве-дать хорошего винца и, когда еще мы были почти юношами, хаживал с палочкой и припадал на ногу. Собеседник, на мой взгляд, он был неважный. Он не умел и не любил слушать, а все сам говорил и срывал „эффекты“. Когда он, уже тронутый в сильной степени своею печальною болезнью, приехал в Петербург, то поразил какою-то непонятною, упорной молчаливостью — словно молчание было послано ему в наказание судьбою за грех излишней болтливости. Он умел „держать фасон“, обнаруживал редкий апломб и, когда впоследствии бесконтрольно распоряжался редакцией самой распространенной русской газеты — „Русское Слово“, то завел там дух и порядок чрезвычайно чванный. Я всякий раз испытывал чувство неловкости, попадая в редакцию „Русского Слова“ — до того атмосфера редакций, созданная Дорошевичем, не походила на обычную нашу русскую редакционную атмосферу: ни признака богемы, беспорядка, панибратства. Чинно, строго, с целым рядом комнат, устроенных по коридорной системе и напоминавших дом предварительного заключения, с чрезвычайно разработанной иерархией заведующих, секретарей и чуть ли не экспедиторов. Даже не сразу можно было догадаться, где помещается кнопка, которую нужно нажать, чтобы привести механизм в движение и добиться чаемого результата. Вообще, что-то среднее между большим министерством и большою экспортною конторою, — американское, французское, английское, коли хотите, немецкое, но совсем не русское литературно-издательское дело. Эту печать наложил, несомненно, Дорошевич. Подобно тому, как Дорошевич первый поднял гонорары на небывалую высоту, создав некие легенды о редакционном вознаграждении и т. п., так он же, едва ли не первый, сумел обуздать московское издательское амигошонство и замоскворецкие нравы, утвердившиеся в прессе. Отношения в этой прессе в большинстве случаев, были такие же, как между хозяином и „молодцом“ из приказчиков. Я тебе плачу, но ты, мол, чувствуй, — как Ахов и Ипполит у

Островского. Самая богатая московская газета была, бесспорно, „Московский Листок“, владельцем которой был уже упомянутый Николай Иванович Пастухов. Он иначе с сотрудниками не обращался, как на ты, гонорар любил уплачивать в трактире, за парой чая или в бане, куда бесплатно водил сотрудников, и всему предпочитал и всего более любил, напоминая в этом отношении биографические черты Кузьмы Пруtkова—пожары. „Отполировать“ такого купца, как Пастухов, заставив его считаться и дорожить сотрудником, было уж много. Дорошевич держал московского купца в „решпекте“, вплоть до И. Д. Сытина, этого удивительно талантливого русского самородка, умнейшей коммерческой головы, который, однако, трепетал, если можно выразиться, имени Дорошевича. Чем особенно действовал на издательскую породу Дорошевич— талантом ли, самоуверенностью, верой в свою звезду—право, не знаю, но — действовал. Говорят, он делал тираж газеты, Может быть, в отдельных случаях, но не всегда. Мне известно, например, что его сотрудничество в „Пет. Газете“—довольно кратковременное и оборвавшееся, вследствие вынужденного отъезда Дорошевича из Петербурга (за статью об употреблении евреями христианской крови), — не отразилось заметным образом на тираже газеты. Но там, где не было газетного ансамбля, где Дорошевич устраивался, так сказать, на правах гастролера, — он, точно, собирал публику и, взамен тиража, требовал от издателя „уважения и преданности, преданности и уважения“ и, конечно, гонорара. Если не ошибаюсь, именно Дорошевич завел систему контрактов, до тех пор совершенно неизвестную в нашем газетном мире. Он писал не просто контракты, а с неустойками, процентными начислениями, обеспечениями на будущее время и пр. О последнем его контракте с И. Д. Сытиным рассказывали чудеса. Тут были и отпуска, и годы отдыха, и какие-то 40.000 рублей в год, присвоенные Дорошевичу на „вечные времена“. Увы, пришла революция, и „вечность“ превратилась в дым. Дорошевич умер в нужде, и жене его приходилось распродавать имущество. Революция спасла Сытина от одной крупной неустойки. Он их столько заплатил, что заплатил бы, конечно, и эту. Почти все сотрудники „Русского Слова“ писали с Сытиным контракты и выговаривали неустойки. Кажется, один я не поднимал вопроса о контракте, чем вероятно, весьма уронил себя в глазах И. Д. Сытина.

Будучи, так сказать, создателем особой отрасли газетно-гонорарного права, Дорошевич усовершенствовал также институт авансов. Об авансе Дорошевич думал то же самое, что Ф. Н. Плевако. Старый анекдот гласит о том, что однажды к московскому „златоусту“ явился именитый купец с каким-то весьма неприятным делом. Плевако, после „оскультации“ и ознакомления с делом, во время чего купец сидел ни жив, ни мертв, наконец, молвил: „Ну, что же, дело ничего, дело можно и обернуть!“ — „Уж будь, Федор Никифорович, отцом-благодетелем! Не оставь!“ — „Благодетельствовать я тебе не буду, а давай аванс!“ Купец глаза вылупил: „Это что же такое, Федор Никифорович, аванс?“ — „Ах, ты, чудак! Задаток знаешь?“ — „Ну, вестимо, знаю!“ — „Так вот, аванс вдвое больше!“ В таком роде растолковал значение слова „аванс“ Дорошевич московским издателям. Аванс взимался строго, неукоснительно, почти с правешом. Аванс соблазнял, увлекал, доводил ум до восторга. И я пал жертвою аванса. Доведенный до отчаяния задержкою денег конторою „Новостей Дня“, запутавшись в векселях, связанных с издательством „Театра и Искусства“, я, кажется, в 1902 г., дал себя увлечь в „трактир купца Кубова“ (как называл Дорошевич ресторан Кюба), и там Дорошевич, можно сказать, перепродал меня Сытину за 4.000 р. аванса.

Дорошевич умел, вообще, показывать товар лицом. Например, он безмерно растягивал свои фельетоны. Я в наивности своей долго не понимал, зачем он это делает, тем более, что, вскоре после воцарения своего на троне российских фельетонистов, он упразднил для себя построчный гонорар, а завел, так сказать, *liste civile*, по которому контора неукоснительно платила. Но он отлично учел психологию, если позволено так выразиться, читательской обывательщины. Долгое, длинное — значит важное и первостатейное. Смешение количественного и качественного коэффициентов, подмен одного другим — это ведь обычная аберрация толпы. Толпа до сих пор, например, твердо уверена, что, если театр ставит, хотя бы прескверно, пятиактные драмы, то этот театр „серьезный“, а если театр ставит небольшие пьесы, — то это уже „театрик“. Если издание выходит в лист, то оно — „журнальчик“, хотя бы писал в нем Шопенгауер, а если три листа, то „журнал“, хотя бы наполнял его граф Амори. И разве не для этого — не для „волюма“, не для престижа, создаваемого

пухлостью, многолистностью, растягивали себя, как резину, многие писатели,—ну, хотя бы Леон Андреев, который всегда был и оставался только новеллистом и автором одноактных скэччей, произвольно им растягиваемых на многие листы и акты? Дорошевич располагал для увеличения объема драгоценнейшим орудием—коротенькой строчкой, которая, быть может, больше, чем его блестящее остроумие, содействовала его успеху и, увы, скоро-преходящей славе. Эта коротенькая строчка—точно, его, Дорошевича, подлинная собственность. Несомненно, что самый характер его стиля, особенность его темперамента соответствовали этому „staccato“, если позволено будет прибегнуть к музыкальному термину. Его отрывистый слог, скачки мысли и игра противоположностей, действительно, исключали округленность периодической речи, и, как „из всех цветочков боле розу я люблю“, так Дорошевич мог сказать, что из препинанья знаков точку более люблю. Но и любя точку, можно писать в одну строку. А можно сплошь прибегать к абзацам, как делал Дорошевич. В условиях московской печати это, прежде всего, было выгодно. Еще когда я писал в „Новостях Дня“, там существовали так называемые „чики“,—прелюбопытное изобретение издательской прижимистости. „Чиками“ назывались неоконченные слова на новой строке, если за ней шел абзац. Эти строчки почему-то гонораром не оплачивались, а набегало таких неоплаченных строк на статью—от 6 до 10. Глядишь, издателью оно и на пользу. Но так как сила сопротивления возрастает, как квадрат давления, то ежестрочные абзацы Дорошевича, ухитрявшегося из слов „да“, „нет“, „о“, „увы“ и пр. делать особые строки, были достойным возмездием издательской жадности. Из всех свойств и талантов Дорошевича—абзацы и коротенькие строчки всего быстрее распространились по лицу русской печати, особенно провинциальной. Это „краткострочие“ всегда производило неприятное впечатление и как-то сразу, в одной внешней манере, единственно типографским штрихом, полагало заметную, ясно видимую грань между тем, что есть литература, и что есть не более, как газетное „распивочно и навывнос“.

Кончина В. М. Дорошевича была очень печальная. Он стал угасать с самого начала революции. События—еще с февральских дней—ударили его, словно обухом по затылку. Он растерялся. По свойству своего дарования, он был фелье-

тонистом и писателем повседневности. У французов различаются ораторы будничных дней и ораторы больших выступлений—*„des grandes occasions“*. Дорошевич был журналистом „маленьких поводов“—*des petites occasions*—и когда разыгралась грозная стихия, он беспомощно, как малая щепка, закружился в волнах событий. Я не знаю обстоятельств его ухода из редакции „Русского Слова“, но он ничего уже не писал, если не считать популярных лекций о печати во время французской революции. Потом я его встречал в Киеве, в Одессе, где еще кипела газетная жизнь, уже затихшая в Петербурге и Москве. Он отмалчивался, глядел робко по сторонам и одиночествовал. Когда он приехал в Петербург, это был живой труп, одержимый, если можно сказать, манией преследования. Умер он совершенно забытый и всеми, кроме близких, покинутый. Ни одного, кажется, представителя литературного мира не было на похоронах. Был прескверный грязный, серый, снежный и сырой, петербургский день, и как я ни гнал извозчика,—я не успел на кладбище. И я вспомнил, как несколько лет назад, почти в такой же день, на том же Волковом кладбище мы хоронили В. А. Тихонова и во время обедни вышли из церкви покурить, и Дорошевич сказал, в ответ на мое шутовское замечание, что вот-де мне придется и его отпевать: „Ну, нет, не вы у меня, а я у вас буду на похоронах“. *In effigio*, впрочем, как говорится в уголовном праве, уже несколько лет, как состоялись наши общие похороны. При всей, однако, ненормальности условий жизни того времени, было нечто крайне жестокое в этом забвении литературного мира. И, мысленно обозревая блистательную карьеру Дорошевича, я почему-то цитировал про себя обращенные к Зевсу слова Гетевского Прометея: „Чьи слезы осушил ты? чье горе успокоил?“ Надо сознаться—Дорошевич был холоден: его блеск был холоден, как диск зимнего солнца...

IX. «Новости Дня» и редакция газеты. — А. Я. Липскеров и Н. И. Пастухов.

Возвращаюсь к прерванной нити воспоминаний о московской журналистике.

Я частенько ездил в Москву „проветриться“. Редакционных обязанностей у меня не было, был я молод, холост, одинок, жил на Пушкинской улице — рукой подать до Николаевского вокзала. Курьерские поезда, недавно введенные, уходили не то в 8, не то в 9 час. веч., и иногда, вдруг, ни с того, ни с сего, я, взяв тросточку и сунув в карман смену белья, а то просто чистый носовой платок, отправлялся за 15 минут до отхода поезда на вокзал и уезжал в Москву. Товарищеские отношения были в Москве теснее и на вид, по крайней мере, дружелюбнее, чем в Петербурге. Редакционная семья „Новостей Дня“ была довольно обширна. Кроме заведывавшего редакцией, обходительного и мягко стлавшего А. С. Эрманса (впоследствии издателя „Одесских Новостей“), была целая куча народа. Там начинал свое литературное поприще скромный юноша Н. Е. Эфрос, писал какие-то бульварно психологические романы Н. О. Ракшанин, очень занятный человек в пенсне и с необыкновенно романическим — для себя лично — сердцем; такие же романы, но более угово-ловно-наказуемых „сюжетов“, писал, явно выходя из моды, хромой Пазухин; там же я познакомился близко с И. Я. Гурляндом, приобретшим впоследствии такую громкую политическую известность. И. Я. Гурлянд жил в Москве, а в Ярославль, ездил два раз в неделю читать лекции. Он подписывался „Арсений Гуров“, а потом сокращенно „Арсений Г.“. Происхождение псевдонима — тоже чисто ярославское. „Арсений Гуров“ был герой какой-то комедии того же названия местного ярославского литератора Михеева. Пьеса эта шла и в Петербурге в Александринском театре, если память мне не изменяет, с В. Н. Давыдовым, и, должен сказать, ничем

решительно не выделялась. Но ярославский патриотизм И. Я. Гурлянда возымел свое действие, и не то он решил прославить Михеева, не то Михеев, фамилией своего героя, великодушно согласился прославить Гурлянда. В то время Гурлянд был живой, остроумный, очень приятный собеседник, добрый товарищ, влюбчивый молодой человек, писавший бойко, интересно, зло, с положительным талантом. Я помню особенно его роман, который сначала тянулся в „Новостях Дня“, а потом вышел отдельным изданием, из театральной жизни. В героине легко было узнать черты Л. Б. Яворской, начинавшей тогда в Москве свою шумную театральную карьеру. Автор был полон обличительного жара — я думаю, тут были некоторые обстоятельства личного характера. Мы так обидчивы в молодости, особенно когда страдает мужское достоинство. Chi lo sa? По умению вести рассказ и приковать внимание читателя, роман был премилый. Как из своего беллетристического дарования, так и из многих интересных качеств своего ума и интеллекта, Гурлянд сделал воистину бессмысленное употребление. Я доселе нахожусь под властью молодых воспоминаний о Гурлянде и потому, может быть, к нему пристрастен. Помню, много раз я заговорил с ним о той нелепой на мой взгляд кривой, которую приобретала его карьера. Гурлянд написал хорошую диссертацию, встреченную весьма сочувственно такими известными и бесспорными учеными, как проф. С. Платонов и др. Он был талантливый публицист и беллетрист. Темперамент его, яркий и легко возбудимый, казалось, нигде не мог найти для себя такого полного выражения, как в литературе. Гурлянд же почему-то записался в губернские чиновники при Штюмере и необычайно дорожил своим положением среди губернских нотаблей. Его больше радовало то обстоятельство, что он сидел рядом с архиереем за губернаторским столом — он, приват-доцент, — тогда как экстраординарные и ординарные профессора лицея, не говоря уже об инспекторе гимназии, помещались на дальнем, „музыкантском“, конце. Его увлекало куда-то в бок, в сторону, тщеславие, — увы, слишком распространенная человеческая слабость, даже у неглупых людей. Материальных соображений тут не было и не могло быть никаких. Литература и профессура давали ему и могли дать неизмеримо больше чиновничьего оклада. Кто знает, может быть, у него от губернского аристократического салона кружилась голова

потому, что из детства вспоминались картины еврейского гетто. Может-быть, что-нибудь еще более отдаленное, смутное, как инстинкт, как бессознательный отголосок старых унижений, в которых жили его предки? Гурлянд, приезжая в Петербург по делам своей диссертации, останавливался у меня; я, бывая в Москве, иногда располагался у него. „На кой тебе чорт служба у губернатора?“ — недоумевал я. „Это важно, интересно!“ — говорил он, просматривая корректуры своей книги „О ямщине и общине“, — „ты не понимаешь!“ Так я и не понял и прекратил разговор на эту тему с ним надолго. А возобновился он уже значительно позднее — в 1906 г., во времена первой Государственной Думы, как раз в то время, когда Трепов завел флирт с кадетами. В один прекрасный день Гурлянд явился ко мне весьма озабоченный, с расстроенным лицом. Он был убежден, что Винавер будет министром юстиции, и „нас всех погонит“. Я удивился и этому легковерию, да и самому расстройству. „Винавер не будет министром юстиции“, — сказал я ему, — „ну, а будет, тебе-то что? Будешь писать в реакционных газетах“. Но Гурлянд обижался, когда его называли реакционером. Он стоял на той точке зрения, что все самое культурное, просвещенное, образованное привлекает к себе на службу государство, на стороне же так называемого „общества“ остаются только одни поскребушки; что еще много-много лет понадобится для того, чтобы „общество“ получило возможность вступить в состязание с бюрократией. Я не касаюсь здесь вопроса о том, насколько самая карьера Гурлянда находилась в зависимости от этого взгляда. Желание порождает мысль, и *c'est une théorie, comme une autre*, как говорит, кажется, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“. Последующие события, во всяком случае, дали некоторое подтверждение этому взгляду. Что представляло собою „общество“, как совокупность либерально-демократических элементов, степень его бессилия и его беспомощности — все это обнаружилось на первых же порах нашей революции. Винавер не стал, и как теперь ясно видно, и не мог стать министром юстиции; бюрократическая же интеллигенция, под видом „спецов“, нашла себе изрядное употребление. Это свидетельствует не только об ее приспособимости, но и об ее сравнительной практической пригодности.

Несмотря на то, что наши дороги столь решительно разошлись, Гурлянд был и остался по отношению ко мне

хорошим другом юности и товарищем. У меня хранится одно письмо его, написанное им по случаю десятилетия „Театра и Искусства“,—очень милое и теплое письмо. Десятилетие журнала было, по каким-то для меня самого непонятным причинам, отпраздновано очень пышно и богато. Откликнулась вся литературная и театральная Россия. И не то с юречью, не то со скорбной иронией, Гурлянд в письме своем извиняется, что не хочет-де своим присутствием наводить на „ликующий день“ унылую тень отверженца. Но зачем он, запутавшись в мелких чувствах, записался в отверженцы и бросился в охранительно-жандармские объятия?

В редакции же „Новостей Дня“ я познакомился с П. А. Сергеенко, усердно сотрудничавшим в этой газете и еще не избравшим себе позднейшей специальности — лейб-биографа Л. Толстого. Сергеенко жил в Коломне и за гонораром, который ему был существенно необходим, приезжал специально в Москву. Но контора „Новостей Дня“ была удивительным учреждением: ею заведывал брат Абрама Яковлевича Липскерова, Исаак Яковлевич, про которого Дорошевич однажды хорошо сострил: „Почему господь не сказал еще раз: Авраам, Авраам, убей Исаака!“ Исаак Яковлевич был самый обыкновенный мелитопольский или бахмутский еврей, до управления конторою московской газеты, вероятно, торговавший в бакалейной лавочке. К деньгам он относился, вообще, любовно и расставался с ними крайне неохотно. Платить деньги было для него сущим мучением, как для Дикого из „Грозы“. Но Дикой, по свойствам своэй пьяной натуры, мог хотя отругаться, а Липскеров-младший и этого не мог. Но он мучительно долго расплачивался, заставляя ждать, бессовестно затягивая процедуру выдачи гонорара, и непременно норовил подсунуть вместо денег несколько купонов, еще не вышедших сроком. Кроме того, „чики“ он толковал чрезвычайно казуистически. Представьте себе мрачную, высокую, похожую на Дон-Кихота, фигуру Сергеенко, приехавшего специально из Коломны и медовым голосом обращающегося к Исааку Яковлевичу, у которого в кассе как раз скопилось столько хорошеньких ассигнаций, радующих сердце, но увы, обреченных на выдачу Сергеенке.

— Ну, хорошо... Гонорар? Ну, хорошо! А вы знаете, сколько?

— Помилуйте, как же не знать... Я же на бумажке написал...

— Ну, хорошо... Что вам так непременно нужны деньги? Поезжайте себе домой, а когда следующий раз придете, то и получите уже сразу еще за две недели.

— Да что вы, Исаак Яковлевич, я же нарочно приехал, деньги нужны очень.

— Положим, — соглашался Исаак Яковлевич, — деньги действительно нужны... Ой, как нужны!.. Ну, хорошо... Слушайте, Аграфиоти, — обращался он к конторщику, — вам уже принесли фактуру на бумагу? Фактура, фактура, фа-акту-ура...

И, делая рулады, он словно забывал о Сергеенке, стоявшем в углу, со скрещенными руками, как воплощенная укоризна. Через некоторое время Сергеенко снова пытался напомнить о себе.

— Исаак Яковлевич, что же гонорар?

— Ой, боже мой, ну, что вы скажете, я совсем забыл. Вы хотите получить деньги?

— Ну, да, ведь мы же говорили об этом...

— Хорошо. Так вы их-таки да получите. Аграфиоти, приготовьте ведомость Ефимову на розницу... Что? Ну, да... Позвоните в „Славянский Базар“! Алло! Барышня, вы спите? Скажите, Петр Алексеевич, что у вас стоит в Коломне ведро огурцов?..

— Дайте же, наконец, гонорар!

— Гонорар, гонорар, гонорар... Аграфиоти! Вы знаете, что господину Сергеенку следует гонорар? Ну, так напишите ему талон, потом пойдите к Лорие и разменяйте у него купоны; я же знаю, что господин Сергеенко не любит купоны... А почему не любить? Что, это не деньги? Но не любит!

Так он вгонял Сергеенку в чахотку. Я думаю, что байроновский, мрачный, как Эреб, взгляд Сергеенка обязан своим происхождением, главным образом, Исааку Яковлевичу Липскерову, а никак не пессимистическому мирозерцанию лейб-биографа Толстого. Судя по произведениям Сергеенка, он скорее оптимист и, во всяком случае, доверчивый и наивный поклонник сократической мудрости.

Гонорар, вообще, платили умеренный. На московском издательском деле лежала еще некоторая, так сказать, печать натурального хозяйства. Двери издательского дома были широко раскрыты для званых и незваных, а всего более для сотрудников. За стол у Липскерова, не считая многочисленного потомства единственно мужеского пола, садилось человек 10,

преимущественно сотрудников. Считалось совершенно в порядке вещей, что сотрудник, у которого нет денег или нет охоты тратить на стол, завтракал, обедал и ужинал у издателя. Там же можно было заимствоваться кредитом и поручительством у портного. Издатель же должен был брать логи в Малый или Большой театры на премьеры и иные представления, что и называлось взять логу „вскладчину“, т. е. „вскладчину“ просить Липскера купить логу. Липскеров был, как я уже говорил, простой и добрый человек, характера на вид сдержанного и спокойного, и крайне наивный, особою печальною еврейскою наивною, — был тщеславен, в том смысле, чтобы сравняться образом жизни и всем „train de maison“ с именитыми московскими купцами. Лейкин сказал бы: „подражал под первоильдейского купца“. Однажды, приехав в Москву и остановившись, по обыкновению, у Липскерова, совершенно так, как заезжают в гостиницу, я не успел еще умыться с дороги, как был увлечен хозяином в залу. „Видите?“ — сказал мне Липскеров с торжественным выражением лица, указывая на огромную машину-орган, занимавший всю стену большой залы. „Трактир тут один прогорел, так я машину купил“. И он немедленно поставил вал „Дунайские волны“, или что-то в этом роде. Машина играла, дудела в дуды, хлопала тарелками и барабанами, а Липскеров сладко жмурился от удовольствия. „Мазурин торговал“, — прибавил он, — „а я перекупил. Красенькую (10.000 р.) прибавил“. О конюшне Липскерова я уже писал. Конюшня его совершенно разоряла, но она была необходима для „престижа“. Когда к освещенному фасаду французской выставки (в 1890 г., кажется) или к „Яру“ подъезжал на паре рысаков Липскеров, то он был не хуже, чем Окрочделов или другой московский именитый гражданин. А это создавало даже кредит, не говоря об удовольствии, а также о посрамлении Пастухова. Пастухов был прижимист и, конечно, в двадцать раз богаче Липскерова, который пускал пыль в глаза. От злобы, ревности и зависти Пастухов даже похудел. Он иначе не говорил, встречаясь с кем-нибудь из сотрудников: „У жидов работаешь?“ Когда же в „Новостях Дня“ появлялось шикарное описание какого-нибудь значительного пожара, а в „Московском Листке“ собственный репортер оказался не на высоте, — тогда отчаянию Пастухова не было предела, и можно было опасаться за его жизнь. Он безвыходно сидел несколько дней в трактире,

и всем депутациям сотрудников, умаливавшим его вернуться в редакцию и вновь принять издательские венец и бармы, отвечал только одно: „У жидов-то, у жидов, пожар-то, пожар-то как описан! Ах, ты, господи! Зарежут меня жида, окончательно зарежут!“

Но резали Пастухова не столько удачные пожары, попадавшие в орбиту зрения репортеров Липскерова, сколько резало то, что сам читатель московский эволюционировал и стал приобретать вкус к более литературному материалу. Пастухов совершенно не мог попасть в дух времени, жил по старинке, почти не изменяя физиономии газеты. Я не знал газеты Пастухова в прежние годы. Говорят, что он создал первоначальный успех среди сидельцев Охотного ряда, Ильинки и пр. московских торговых рядов (а они-то и составляли главный контингент читателей) главным образом, благодаря оригинальному „почтовому ящику“, в котором печатались такие, примерно, строки: „Купцу Фед. Ив. П-ву. Что за женой-то не поглядываешь? Спихватишься, да будет поздно“. „Ильинскому торговцу С-ву. Ты спросил бы у Якова, где деньги берет, чтобы по трактирам шататься. Не в выручку ли залезает?“ Я, повторяю, этих обличительных приемов уже не застал. Но газета была, действительно, какая-то совершенно особая. Больше половины ее посвящалось какому-то „церковному листку“ и „дневнику происшествий“, т.е. полицейской хронике мелких событий и фактов — то, что на французском газетном жаргоне называется „faits divers“, причем в скобках, разрядкой, печатался заголовок происшествия. Весь жар души и вся фантазия „редакционных сил“ уходили именно на подбор и изобретение заманчивых титулов для этого дневника. Помню, однажды сообщалось, что в артели, работавшей у какого-то подрядчика, обнаружилось острое желудочное заболевание, повлекшее за собою смерть семи человек. Оказалось, что изготовлены были щи из гнилой рыбы, и рабочие отравились рыбным ядом. Титул этого происшествия в „Московском Листке“ гласил: „Рыбки захотелось“.

Пастухов видел, что газета падает, барахтался, взял Дорошевича, положил ему огромный по тому времени оклад, а делу все это мало помогло. Читатель требовал уже какого-то минимума культуры, и что „рыбки захотелось“ — было ему мало. Пастухов дошел до того, что решился даже самолично поехать на Парижскую всемирную выставку и описать ее,

хотя до этого времени не выезжал никуда дальше Серпухова. Я бы дорого дал сейчас, чтобы иметь под рукой эти корреспонденции — они единственны и неподражаемы. В первой корреспонденции Пастухов описывает, как он собирался в дорогу, и дает читателям подробный реестр того, чем им, в особенности из снеди, надлежит запастись. Пастухов, лично для себя, взял 12 ф. икры, но, по его мнению, этого мало, однако, если комбинировать с балыком и белорыбицей, то можно и 8 ф. И т. д. Затем, в дальнейших корреспонденциях, излагались путевые впечатления: „Вот“, — писал Пастухов, — „мы переехали границу. Вынимаю часы — что за притча? У меня 9 часов, а у других 7. Это потому, что у нас солнце раньше восходит, а у них позднее. Наука все это вполне объясняет“.

Но и парижские „впечатления“ Пастухова мало помогли делу: „жиды“ продолжали резать. Был момент, когда Пастухов воспрянул было духом, — с появлением высочайшего повеления о выселении всех евреев, кроме имевших ученую степень и 1-ой гильдии купцов, из Москвы. На основании этого высочайшего повеления подлежало высылке из Москвы свыше 100.000 человек. Пастухов ежедневно служил молебны и снова пополнял. Липскеров, как я уже упоминал выше, по слухам, числился „для права жительства“ в портновском цехе. Так или не так, во всяком случае жил да поживал. Но тут ничего поделывать было нельзя; высочайшее повеление было составлено столь категорически, в упрямой царской голове так определенно сложилась и утвердилась мысль о богоугодности этого нелепого и наглого выселения 100 тыс. человек с насиженных мест, что даже самые отчаянные полицейские взяточники и крючкотворы, нажившие каменные палаты на „еврейском вопросе“ и „правах жительства“, стали втупик и отказывались подать человеколюбивую, за соответствующую мзду, помощь. Притом московские хоругвеносцы и молебствующие Пастуховы следили зорко за неукоснительным выполнением богоугодного дела. Тогда Липскеров, собрав большой „фамильный совет“, поставил вопрос, как быть, и фамильный совет решил окреститься. В один прекрасный день, Абрам Яковлевич и Исаак Яковлевич, и все чада и домочадцы, и тетки, и племянницы, и зятья, и шурья, приехавшие из Мелитополя или Бахмута, оказались „англиканского вероисповедания“. Все это произведено было втайне, и когда, во исполнение высочайшего пове-

ления и за истечением положенных сроков, частный пристав явился в редакцию „Новостей Дня“ для выселения издателя газеты, Липскеров увел гостя в кабинет и скромно, с достоинством молвил: „Мы все англичанцы“. Частный пристав выпил водки, крикнул, закусил рыжиком, спрятал конверт с благодурием и воскликнул:

— Ну, вот и прекрасно! Даже удивительно, как я раньше не догадался, уважаемый Абрам Яковлевич, что вы — англичанец.

Тем дело и кончилось. А Пастухова поразил, когда он узнал об этом, первый апоплексический удар. Едва ворочая языком и судорожно шевеля полупарализованной рукой, он лепетал:

— Жиды-то, жиды-то англичанцами стали... Вывернулись... Пропала наша головушка..

Об англиканском перевороте я ничего не знал. Приехав в Москву на юбилейное празднование 10-летия газеты, я был, так сказать, приятно аффрипирован, застав в редакции молебен с возгласением многолетия всему липскеровскому дому. Абрам Яковлевич держал себя с большим тактом и достоинством, и, так как англичанцы не прибегают к крестному знамению, то он ничем во время молебствия не отличался от самого подлинного англичанца. По окончании молебна, духовенство было отпущено с соответствующею благостынею, но на трапезу оно не было оставлено. Это было не совсем по московски, — такой „лаический“, „светский“ характер трапезы, но и тут нельзя было не подивиться такту Абрама Яковлевича.

Бедный Абрам Яковлевич! Уже первая революция свела его газету на нет. Вскоре она и совсем закрылась. Я потерял Липскерова из виду, и только однажды видел его в 1912 или 1913 г. Он пришел ко мне в номер московской гостиницы, прося дать объявление о спектаклях „Кривого Зеркала“ в какой-то издававшийся им двухнедельный листок „Театр и Спорт“. Он исхудал и побледнел, и просил об объявлении с неестественной, преувеличенной, напыщенной развязностью, вертеться во все стороны и стараясь быть как можно фамильярнее. Это было до того жалостно, что можно было расплакаться. Я наскоро сунул ему 100 рублевую бумажку за объявление во всю страницу в двух номерах „без скидки“, и целый день чувствовал острый укол в сердце.

И все время вертелись, у меня раздражительные крики начальника Гл. Упр. по делам печати Соловьева, у которого мы ходатайствовали как-то о смягчении административной кары, наложенной на „Новости Дня“.

— А почему сам Липскеров не хлопочет?—спросил Соловьев.

— Он болен, ваше п-во. У него бронхит. Он и в Москве-то выезжает только в карете.

Соловьев вскочил, как ужаленный.

— Слышите, Василий Семенович,—крикнул он неизменному Адикаевскому, сидевшему в смежной комнате,—у Липскерова брон—хит, брон—хит, он ездит в карете. Никаких послаблений, никаких-с! Он ездит в карете, у него бронхит!..

Ну, вот—думал я—все кончилось, и как просто кончилось. Стоило ли злобствовать?

Юбилей газеты был отпразднован, в общем, весьма торжественно. Сотрудники получили очень изящные жетоны—трех сортов или, вернее, тройкого достоинства: золотые с бриллиантками, золотые просто и серебряные золоченые. Я был отнесен к первой категории, и до сих пор у меня хранится жетон, хотя, увы, уже без бриллиантовых знаков. За обедом конечно, были речи, было много речей. Помню, что говорил Дорошевич, который в то время уже не работал в „Новостях Дня“, а писал у Пастухова, но явился приветствовать свою, так сказать, alma mater. Затем говорил Амфитеатров и придирчиво отвечал на речь Дорошевича. Это произвело неприятное впечатление, а позже вечером, когда вся компания с обеда отправилась в сад „Аквариум“, правда, уже значительно отягченная парами, между Дорошевичем и Амфитеатровым произошла и совсем нелепая сцена. С течением времени, конечно, все это забылось, и отношения, по крайней мере, наружно, между Дорошевичем и Амфитеатровым установились приятельские.

После юбилея у „жидов“ Пастухов окончательно махнул рукой и подчинился судьбе. Тираж „Московского Листка“ продолжал падать, но прочный читатель Замоскворечья и хорошие объявления продолжали поддерживать газету. Одно время Пастухов перенес честолюбивые мечты свои на своего сына Виктора, которому для начала предложил издавать иллюстрированный еженедельник. Для приглашения сотрудников Пастухов-сын приезжал в Петербург и остановившись в Балабинской гостинице, стал выдавать авансы. Весть об этом

событии быстро разнеслась по Петербургу и сильно взволновала сердца литераторов. Гонорар был положен Пастуховым важнейший — 20 коп. со строки. Помню, что я тоже дал в еженедельник какую-то статью и был приведен в Балабинскую гостиницу литературным „главноуполномоченным“ В. Н. Пастухова, художественным критиком Александровым, известным в литературных кружках под именем „Переблуд-Паша“. Удачнее этого прозвища, действительно, трудно было что-нибудь придумать. Александров был человек лет за пятьдесят, с седоватою большою бородою, и очень похожий на турка. Все у него лоснилось—лицо, лысина, глаза, сюртук. Когда Переблуд-Паша ввел меня в балабинские апартаменты Пастухова-сына, то я застал плотного, черноглазого молодого человека, типа Андриюши Белугина, в туфлях на босу ногу и без пиджака. Стоял дым коромыслом, на столе—дюжина раскупоренных бутылок, и очень много литераторов около бутылок. Новый издатель был уже на втором взводе и, пожимая плечами, плыл лебедем по комнате, припевая: „Эй, жги, говори!“ Журнал должен был служить чистому искусству и литературе, и собственно, в Балабинской гостинице и должен был состояться обмен мнений по редакционной программе. Но иллюзии исчезают, а факты остаются... Молодой Пастухов (в общем, добродушный и приятный человек) приезжал несколько раз в Петербург намечать литературную линию журнала и так усердно ее намечал, что заболел чем-то вроде белой горячки. Вскоре он умер. Об нем искренне жалели в московских газетных кружках.

Х. Пресса и биржевая игра.—Парижские впечатления.

В самом начале девяностых годов стали обозначаться какие-то признаки перелома в общественном настроении: среди вялой жизни—„жизни презренной, жизни обывательской“, как говорится у Чехова,—появились некоторые черты острого возбуждения. Они, несомненно, находились в связи с курсом экономической политики, который взял Витте, после сравнительно робких опытов и начинаний Вышнеградского. Витте быстро и решительно покончил со следами натурального хозяйства. Его финансовые реформы и, особенно, установление золотой валюты были самым могущественным орудием европеизации России. Бумажные деньги, как это ни парадоксально кажется на первый взгляд, могли бы составить дополнительную единицу в „триаде“ русской самобытности, формулированной Уваровым: самодержавие, православие, народность плюс — ассигнации. Совсем не случайно, что славянофильствующая часть публицистики, и среди нее пылкий, неумеренный, развязный, но, несомненно, талантливый С. Ф. Шарапов, была против введения золотой валюты. Золотая валюта — это то же, что общий язык человечества для торговли, промышленности, гражданского оборота. Золотая валюта есть подлинный и настоящий интернационал. Инстинктивно, едва ли с полным пониманием всех политических и социальных последствий введения золотой валюты, реакционные элементы боролись против реформы Витте. Статьи, брошюры, памфлеты, угрозы, пророчества — все это сыпалось на Витте. Доказывалось, что бумажные деньги — наше богатство, а золото — нищета. Помню одну особенно задорную и парадоксальную брошюру некоего Путятты. По поводу этой брошюры напечатаны были юмористические стишки с припевом: „А все ж, Путятта, милей мне злато“.

Одновременно с золотой валютой наступила эпоха промышленного грюндерства, напоминавшая конец 60-х и начало

70-х годов. И как тогда фельетоны Незнакомца, статьи Скальковского, „Бирж. Вед.“ Баймакова и пр., сосредоточивались вокруг явлений акционерной жизни, так и теперь пресса получила новую пищу, новое значение, новые темы в финансовой и экономической областях. Но, конечно, грюндерство конца 60-х и начала 70-х годов было сущей безделицей в сравнении с промышленным и, особенно, биржевым ажиотажем начала девяностых годов. Главное было даже не в бешеном подъеме всякого рода ценностей, а в том, что впервые у нас в России в биржевой игре и биржевых спекуляциях стала принимать участие широкая публика. Явилась „кулиса“, которую обрабатывала биржа. „Кулиса“ — это уже масса, публика, обыватель, толпа. Безмерно повысилось и раздулось значение рекламы, а отсюда и влияние и значение прессы для биржи.

Нравы нашей прессы были, в общем, довольно чисты и невинны. В худшем случае, попадались бутербродные рецензенты и репортеры. Но с первым расцветом биржи и широкой спекуляции нравы прессы стали быстро, — не скажу портиться, — а видоизменяться. Как-то само собою вышло, что значительная часть органов печати стала группироваться вокруг крупных финансовых, промышленных и банковских соединений. Финансисты ли и биржевики искали прессу, пресса ли искала их — я не знаю, но объявления, промессы и пр. продукты биржевого и банковского хозяйства не могли не оказывать, хотя бы косвенно, влияния на печать. Это — с одной стороны. А с другой — все играли, и стар, и млад, и юноша в семнадцать лет, и старик с седой головою. Дамы в особенности, генералы — преимущественно. Биржевые обозрения, которых раньше никто не читал, которые и печатались не чаще раза в неделю — стали самою живою и бойкою рубрикою газет. Большие органы печати еще держались кое-как, хотя, нет-нет, то в хронике, то в статьях и заметках проскальзывали весьма недвуусмысленные рекламы предприятиям, банкам, выпускам акций и облигаций и пр. В мелкой же прессе биржевой отдел затмил и спорт, и театр. „Рецензии“ о биржевых сделках, повышениях и понижениях, появлялись изо дня в день, подстегивая одних, разочаровывая других, поощряя третьих, ввергая в меланхолию четвертых. Среди газетных биржевых хроникеров отличался особенною бойкостью (и сравнительно, беспристрастием) некто Шабишев,

делавший тираж „Пет. Листку“. Эти рецензии и заметки влияли, действительно, на биржу. Дело в том, что после закрытия официальной биржи и установления котировки, начиналась неофициальная биржа, когда биржевые зайцы, мелкая и крупная кулиса, а иногда и банки готовились к завтрашнему биржевому собранию и скупали или продавали ценности, в соответствии с определившеюся тенденцией рынка или планами биржевых королей и магнатов. Собственно тут-то и была настоящая „игра“, которая на биржевых собраниях лишь реализовывалась. На биржу допускался не всякий, — здесь же мог покупать и продавать всяк, кто хотел. Местом этих биржевых, неофициальных и особенно популярных собраний, был так называемый Милютин ряд с прилегающею к нему частью Невского, усеянный небольшими банкирскими конторами. Место это прозывалось почему-то „американской биржей“. От 3 до 6-7 вечера здесь толпились мелкие зайцы, кулисы, маклера, игроки, выигравшие, проигравшиеся, чающие выиграть и потерявшие надежду воспрянуть. Для газеты, выходившей утром и определявшей биржевое настроение читателя, было очень важно изобразить картину „американской биржи“, с ее сенсациями, слухами, враньем, утками, хитроумными маневрами понижателей, повышателей и т. д. В этом хмельном чаду игры газеты понемногу теряли свою невинность. В конце концов, все ведь играли. Более того, почти все выигрывали. Я старался понять, кто же, в конце концов, проигрывает, если все выигрывают; где тот дурак, который плачет последним и тот умный, который последним смеется. Было так соблазнительно купить что угодно, положить на оп call, потом взять прибыль, опять что-то купить (в большинстве случаев, безразлично что), и опять сделать то же... В редакциях газет играли совершенно так же, как в канцеляриях, как в лавках, как в салонах. Для того, чтобы открыть онкольный счет в мелкой банкирской конторе, достаточно было иметь рублей полтораста наличными. Обычно принимали бумаги в 75% котировочной стоимости. Следовательно, на 150 руб. можно было иметь бумаг на 600 руб.; онкольный счет открывался, начиная с 1000 р., и „по знакомству“ бумаги принимали только с 15% обеспечения. Как же было не играть при столь льготных условиях? В случае резкого падения ценности бумаги, разумеется, требовали доплаты, или продавали „экзекуционно“ заложенные бумаги,

что называлось „высечь“ кулису. Высекши кулису, крупные игроки устраивали повышение, и купленное по низким ценам продавали по высоким. Я помню очень хорошо, что самым трудным для меня из политической экономии было уразуметь сущность биржевых операций. Но в описываемое время я отлично понял, что такое „hausse“ „baisse“ и пр.

Как я уже заметил, играли все: одни откровенно, шатаясь на „американской бирже“, другие — прикровенно. При хороших связях, можно было получить ценное указание о каком-нибудь выпуске дополнительных акций, о предполагаемых размерах дивиденда, о новых заказах и т. п. Не соблазниться было трудно, но, конечно, можно было делать, перефразируя поговорку, „mauvaise mine au bon jeu“. В разгаре биржевого повышения, покойный А. П. Коломнин, управляющий, в качестве зятя А. С. Суворина, делами „Нового Времени“, весьма корректный и серьезный человек, рассказывал мне, как однажды издатель „Нового Времени“ спросил его, какая де наличность имеется в кассе, и, узнав, что совершенно свободная наличность превышает несколько сот тыс. рублей, сказал: „Надо что-нибудь купить“. Коломнин, состоявший юрисконсультom какого-то банка, заметил, что надо бы справиться, что именно купить, Суворин же молвил: — „Ну, что там справляться? Дайте-ка мне биржевой лист, вот куда ткну пальцем — то и купите“.

— И представьте, — наивно восклицал Коломнин, — до чего везет человеку! Ткнул он в какие-то пароходные акции, вздор совершеннейший, об них на бирже и упоминать-то никто не упоминал, и вдруг, ни с того, ни с сего, пошли, пошли в гору... Удивительно везет! Вот кому бы на бирже играть...

Я думаю, однако, что дело было не столько в слепой фортуне, сколько в том, что Суворин кое-что прослышал — а прослышать ему было нетрудно, но по обыкновению своему он слукавил и посмеялся над своими приближенными. Я рассказываю здесь не только о том, что видел, но и о том, чем в мое время земля слухом наполнилась... Я никогда, например, не слышал от заклятых врагов даже, чтобы Витте спекулировал или играл на бирже. Иногда что-то шипели про его близких, но лично о нем злые языки в этом смысле молчали. Да и не в духе Витте была стяжательность. Поглощающею его страстью было властолюбие и честолюбие, а это

не совмещается с наклонностью к наживе. Но, несомненно, Витте отлично умел пользоваться золотым дождем и лил его в изобилии, когда это нужно было в интересах его государственной деятельности. И кто наблюдал светскую жизнь, мог отлично видеть, как в отношениях к Витте, во всех этих куртизанах двора и высшего общества постоянно боролись два чувства: инстинктивная, родовая ненависть к выскочке и невольный трепет пред человеком, которому достаточно повернуть кран, чтобы пустить освежающий и укрепляющий золотой душ. И все стремились сохранить достоинство в недостойном положении. Особенно забавно было наблюдать этих куртизанов около графини Витте — я часто лорнировал ложу ее в театре: надо забежать, но в то же время, как бы не заметили придворные соглядатаи, потому что она не принята при дворе и т. п. А кстати сказать, графиня Витте была на вид в высшей степени изящна и *distinguée*. Если для того, чтобы узнать о новостях биржи, сановники готовы были торчать около любезнейшего Моисея Соломоновича и играть дуэты с директором учетно-ссудного банка, А. И. Заком, который очень любил свою скрипку, то легко себе представить, какой флирт заводили с Витте!

Но возвращаясь к газетному миру. В этот медовый месяц нашего промышленного и биржевого оживления редактором „Пет. Газеты“ был сын издателя, покойный ныне Н. С. Худеков, а по молодости его лет, к нему был приставлен, так сказать, дядькой в качестве второго редактора П. Ф. Левдик, с которым мы уже встречались в редакции „С. Пет. Вед.“. П. Ф. Левдик был неглупый, довольно образованный и воспитанный человек, сын тайного советника; долго жил за границей, причем молодость его покрыта „мраком неизвестности“. На вид сдержанный, холодный, по натуре он был игрок.

Говорили, что собственно, благодаря азарту, он стал „блудным сыном“ в строгом бюрократическом семействе своего отца, и должен был бежать за границу. По страстной натуре, его бросало в разные стороны. Частенько он пропадал, как Алеко, в цыганских „таборах“ Самарканда, где у него вечно были романы и откуда он непременно брал жен (он был женат дважды и оба раза на новодеревенских цыганках).

Всегда так бывает, что на ловца и зверь бежит. Биржевая вакханалия была настоящей стихией Левдика. Он являлся в редакцию, аккуратно делал, что полагается, но душа его

была на „американской бирже“. Едва кончив занятия — утренние занятия в редакции кончались в то время рано, — часа в три, — он надевал свой цилиндр и тихими, крадущимися шагами отправлялся на „американскую биржу“. Там была контора Кутузова — из второстепенных, — где „прессе“ оказывалось почти такое же благорасположение, какое оказывал по столовой и буфетной части трактир „Мало-Ярославец“. Открывали онколь и с доплатой в 50 рублей. Ревизии кредитной канцелярии были введены позднее, да, в конце концов, при желании, кто же мог воспрепятствовать банкиру открывать какие угодно счета? Как и следовало ожидать, в результате столь блистательной системы, Кутузов прогорел. Увы, что можно было получить с „братьев-писателей“, в случае неблагоприятного „ультимо“?

Да, „ультимо“... Ибо, надо вам сказать, что биржевой жаргон — очень быстро вошел в употребление. Через два-три месяца все уже говорили довольно свободно: „почем видны деньги“. „Деньги видны по 135“, „а с нохом дают?“ „Дают и с нохом“. „Нох“ — немецкое „posh“ — означало, что не только купили наличность, но приэтом добавляли: „а коли еще есть по этой цене — так пожалуйста, возьмем“. И когда чихали, то на приветствие: „будьте здоровы“, отвечали: „и вам того же, с нохом“.

Со времени великой войны нас, конечно, трудно удивить спекуляцией. В сущности, спекуляция упростилась до последней возможности: покупай, что хочешь, а потом продавай с пользой; опять покупай и снова продавай. Безостановочный рост цен, которому не видно предела, давно лишил спекуляцию какого-либо оттенка риска и соображения. Кто все покупал и по какой угодно цене покупал, тот все продавал и непременно по высшей цене. А дело было только в размахе и размерах. В течение почти целого года биржевая игра напоминала нашу спекулянтскую эру и представляла нечто вроде беспроигрышной лотереи: кто ни покупал и что ни покупал, — все равно оставался в барышах, разве только продавал на сроки (ultimo), когда и случались неприятные казусы. Соблазн рос, ширился и захватывал самых отъявленных скептиков и самых равнодушных людей. В один прекрасный день, получив 100 р. гонорара из редакции, я отдал бумажку кому-то из товарищей „на биржевую игру“, хотя, признаться, не без колебания.

— А как же прачка? — сказал я робко: — и потом еще портному за перелицовку брюк...

— Ничего, пустяки... Сыграешь на бирже и заплатишь прачке...

На сторублевую бумажку мне открыли „онколь“, купив, как я потом узнал, пять штук брянских и десять путиловских. Через пять дней мой руководитель сказал:

— Надо покупать варшавский банк...

— Как, варшавский банк? Да как же я могу купить варшавский банк!

— Чудак! Продадим путиловские и брянские, и купим варшавский банк...

Оказалось, что у меня уже не 100, а 325 руб., на какие куплен был „варшавский банк“. Прошла неделя, и мне продали „варшавский банк“ за 625 р. и купили уже 25 путиловских и 15 брянских. А через пять дней продали, и на оказавшиеся 1500 р. купили „Днепр“. Я уже не спрашивал, какой такой „Днепр“, а поплыл по течению. И действительно, в конце мая, когда навигация по Днепру была в полном разгаре, у меня оказалось уже 3 $\frac{1}{2}$ тысячи рублей и кроме того, еще какой-то десяток акций на онколе. Я ничего не понимал. Из биржевых прибылей я уже давно уплатил прачке и портному, купил себе тросточку красного дерева и, помахивая ею, в тяжелом раздумьи гулял по аллеям „Аркадии“. Дело в том, что я был капиталист, а капиталист отнюдь не покоится на розах: он должен денно и ночью думать о судьбах вверенной ему частицы национального богатства. Богатство обременяло меня. Я не знал, что с ним делать. Я зевал, как Пушкинский Фауст, и чувствовал тень подкрадывающегося сплина. И вот, однажды, пресыщенный всеми земными удовольствиями, которые в то блаженное время можно было купить в „Аркадии“ рубля за 3—4, я рассеянно слушал рассказы камер-юнкера Безобразова (см. выше), вернувшегося из Швеции, о шведском пунше и еще о чем-то специально шведском. Безобразов был при деньгах, так как в это время уже состоялось распределение популярного, так сказать, в литературно-журнальной среде, „плещеевского наследства“ (о чем скажу вскоре более подробно), и Безобразов, близкий друг семейства Плещеевых, был взыскан судьбою:

— Отчего бы вам не поехать за границу? — сказал вдруг Безобразов, — что вы тут киснете?

В самом деле, почему бы мне не поехать? Ведь я богат. Кстати, тут подвернулись события: президент французской республики Карно был убит анархистом, а в Антверпене открылась всемирная выставка и предполагался международный конгресс журналистов. Меня снабдили разными удостоверениями и редакционными свидетельствами — по нынешнему, „мандатами“, и я имел видимость человека, отправляющегося за границу не только для собственного удовольствия, но и по неотложной надобности. Нашелся и попутчик, Н. Е. Эфрос, который ехал тоже как будто от редакции „Новостей Дня“, а в действительности, тоже больше за тем, чтобы людей посмотреть и себя показать.

Так случилось, что я в первый раз поехал за границу. Впоследствии я ездил за границу ежегодно, и если память мне не изменяет, двенадцать раз возил себя в Киссинген, где меня знали уже многие отельщики, в качестве почетного Stammgast'a, по немецкому выражению. Но первое впечатление, как первую любовь, забыть нельзя — оно неискоренимо.

Я был подавлен, поражен и ходил с разинутым ртом. Чужд, великолепен, непонятен был немецкий кондуктор, немецкий вагон, немецкий кельнер — все эти люди, предметы, вещи, отношения, столь не похожие на наши. По мере удаления на запад, все разительнее становилась перемена, все фантастичнее то, что открывалось взору, все сказочнее окружавшая обстановка. Когда мы подъезжали к французской границе, меня била лихорадка. Ведь это была „прекрасная Франция“, с ней связаны великие легенды революции, борьбы за свободу, страна демократии, страна утонченного искусства, изящнейшей литературы. Не помню, как называлась станция на францужско-бельгийской границе, где выполнялась таможенная процедура. Было раннее слегка сыроватое утро. Толстая баба заскорюзлыми руками рылась в моем чемоданчике, швырялась вещами и рокотала басом отрывистые слова; худощавый, похожий на птицу, французик кричал: „qu'avez vous à déclarer?“. На платформе стлался слой липкой грязи; жалкие заборы и грязные двери; гнусного вида уборные... В заключение, гарсон обсчитал на 3 франка, по случаю первого, так сказать, знакомства. Все это было неожиданно, после Германии, но впечатления только мелькнули по поверхности, и вновь душа была устремлена вперед к Парижу — к „ville lumière“, к этому единственному и несравненному городу. Жадно глядел я в окно на мелька-

ющие зеленые поля, из-за дали которых должен открыться Город-Светоц, Город-Легенда.

А ведь, точно, другого такого города и нет, и не будет. Теперь я могу это сказать совершенно спокойно, не впадая ни в какие восторженности и преувеличения. Есть — помимо физического, так сказать, города, его вида, тела и населения — еще незримый город, окружающий физический: его воздух, его атмосфера. История дышет; века дышат; предания дышат, — и все это, за пределами материально постигаемого и ощущаемого, оставляет свой след, окружает, как нимбом, город, и вторгается некоторую, спиритуалистическую, так сказать, плоскостью, в физическую плоскость Парижа. Каждый камень здесь — история, и как ясно различаешь линии лица, испытанного жизнью, — так читаешь историю города по старым камням, деревьям, улицам...

Мы остановились, по совету одного из петербургских знакомых, в небольшом, как говорится, „буржуазном“ отеле. Немедленно пустился я разыскивать нужных людей для того, чтобы запасть пропуском на похороны Карно. Нужным человеком оказался впоследствии весьма известный — печальной известностью — Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Он был в то время еще совсем мальчик, — лет 20 с хвостиком, — и в Петербурге шатался по репортерско-интервьюерским делам, работая, главным образом, в „Новостях“ Нотовича и в приложениях к „Новостям“ — „Петерб. Жизни“. Манасевича-Мануйлова называли все „Ваничкой“, хотя Ваничка был уже женат, и притом прероманически, что, впрочем, составляло всегда его отличительное свойство. Жену свою, Софью Петровну, тоненькую, хорошенькую барыньку, он где-то отбил, или у кого-то отбил, чуть-ли не выкрал. Ваничка был вертлявый, шустрый, невысокого роста брюнетик, с черными как маслина, глазами, и темным румянцем. Вообще, в известном смысле и на известных лиц мог действовать, как Алкивиад — неотразимо. Был он добродушно болтлив, причем врал, как сивый мерин, услужлив, воспитан, приятно вкрадчив. Одним словом, „душа общества“. Были у него и известные средства, оставленные отцом, средней руки екатеринбургским золотопромышленником, однако выдававшиеся, до достижения Ваничкой 30 лет, только в виде процентов. Кроме того, он получал деньги от мамы, и сверх сего, добывал их всячески. Злые языки болтали, будто Ваничка устроился в „Новостях“ по-

тому, что Нотович, который, подобно Мольеру, брал свое добро всюду, где находил, взял займы у родителей Ванички некоторую сумму. Во всяком случае, он в Петербурге жил довольно роскошно и комфортабельно, и устраивал у себя всякие „суаре“ с картишками, домашним лото и т. д. Мамаша, как и следовало ожидать от дамы екатеринбургского света, и притом из евреек, была помешана на высшем обществе, бредила кавалергардами, желтыми кирасирами и атташе при посольстве, мечтая пристроить за какого-нибудь штатского или военного фешенебельного молодого человека свою дочь (в чем, кажется, и преуспела), и не жалела денег также и для того, чтобы пустить Ваничку по дипломатической части. Он, действительно, числился по канцелярии у Мосолова, а в Париже терся калачем при русском посольстве (послом был в то время бар. Моренгейм) и состоял, едва ли в совершенно безмездной, дружбе с советником посольства, д. ст. сов. Ганзенем, русским датчанином. Представить себе Ваничку дипломатом было делом довольно мудреным, и все добродушно над этим посмеивались, пока в один прекрасный день, в 1903, кажется, году, имя И. Ф. Манасевича-Мануйлова обошло всю заграничную печать в качестве особо уполномоченного лица, которому было „секретнейше“ поручено обставить всевозможными предосторожностями ответный визит Николая II итальянскому королю, и который так этот визит обставил, что путешествие, к великому скандалу, совсем не состоялось.

Ваничка с Софьей Петровной жил в „Hôtel de Russie“, на самом бойком месте бульваров, близ улицы Друо. После нашего тихого „буржуазного отеля“, отель, в котором жил Ваничка, действовал, можно сказать, ошеломляюще. Сам Ваничка производил впечатление чрезвычайно занятого какими-то важными государственными делами человека. Он напоил меня „русским чаем“ и предложил немедленно отправиться к „синдику“ иностранной парламентской печати, корреспонденту „Нов. Времени“, И. Я. Яковлеву (Павловскому). Торжественные похороны убитого президента были назначены через два-три дня, и надо было спешить. И. Я. Яковлев жил тогда все в той же квартире, на улице Гуно, 7, где он жил 20 лет спустя, и где — может быть, живет и посейчас. Я, кажется, познакомился с ним в Петербурге, куда он приезжал как-то летом, в саду „Аркадия“, при довольно странных обстоятельствах. Именно друг мой, В. П. Далматов, бывший в этот вечер в том особом

настроении, о котором где-то у Гл. Успенского говорится: „а ежели у меня такое намерение, чтобы полуштоф“, — В. П. Далматов, говорю я, вдруг ни с того, ни с сего, приметив Яковлева в группе журналистов на одной из центральных аллей сада, стал перед ними на колени и с большим чувством продекламировал: „Не тебе, не тебе, а всей русской печати кланяюсь!“ Сцена вышла трогательная, но не совсем уместная. Далматова стали поднимать, он упирался и указывая на Яковлева продолжал: „Это не человек! Это скала! Это пирамида! Это сфинкс!“, и тогда мне пришлось пустить в ход все свое влияние на моего друга (неоднократно уже испытанное). Вот при этом-то эпизоде я, помнится, и свел знакомство с Яковлевым. Этот способный и образованный журналист оказывал, вообще, много услуг русским, заблудившимся в Париже, хотя неизменно сохранял на лице мизантропическое, хмурое, брюзгливое выражение. Я его часто потом видал, подолгу разговаривал, ценил беседу с ним, но всегда испытывал такое чувство, что и я невпопад пришел, и он невпопад меня принимает, что не то сапог жмет ему ногу, не то он рыжиков поел, и у него отрыжка, не то сейчас ему надо бежать в ломбард закладывать женин салоп. Мне кажется, что сотрудничество в „Нов. Времени“ ему не дешево доставалось. Он был из политических эмигрантов, а писал корреспонденции в „Нов. Времени“. Был еврей, а сотрудничал у Суворина. Это не могло не угнетать. Но „Нов. Время“ обеспечивало: он имел 24.000 фр. жалованья в год, и мог жить безбедно, с женой, типичной русской акушеркой, и уже подраставшими детьми. Когда разыгралось дело Дрейфуса, и „Нов. Время“ сочло своею, так сказать, священною обязанностью с пеной у рта доказывать виновность Дрейфуса, словно газета состояла на службе у французского генерального штаба — Яковлев, наконец, не выдержал и прекратил сотрудничество. Суворин не мало дивился этому поступку Павловского, как совершенно искренно, по великой, обворожительной, грациозной беспринципности своей, не понимал причины охлаждения к нему Чехова, произошедшего отчасти также в связи с делом Дрейфуса.

Я уже сказал выше, И. Я. Павловский был „синдиком“ иностранной парламентской печати. Пресса делилась на три секции и занимала в палате строго и точно обозначенные места: парижская печать занимала второй ярус, провинциаль-

ная—левый сектор верхнего яруса, и иностранная—правый сектор. Среди парижских корреспондентов иностранных газет были в то время лица весьма известные. Не говоря уже о корреспондентах „Таймса“, был Макс Нордау; если не изменяет память, Вольф от „Берл. Тагеблат“ (ныне редактор этой газеты) и др. Избрание Павловского синдиком, во всяком случае, свидетельствовало о значении его и влиянии среди товарищей.

И. Я. Павловский написал разные удостоверения и бумажки, и с этими бумажками я, в сопровождении Ванички, который также о себе хлопотал, стал бегать по французским департаментам. Департаменты отличались пышными названиями и грязными лестницами. Вывеска была, положим,—„Chef du protocole“ — „обер-церемониймейстер“, так сказать, а лестница с заднего двора, и из каморок выглядывали небритые курьеры, в трепаных пиджачках. То ли дело наши департаменты!

Наконец, все формальности были улажены, на руках имелись и *cartes d'entrée* и *permis de la circulation*.

— Не забудьте черные запонки к белому галстуху, — сказал мне Ваничка на прощанье.

Увы, дело было не в черных запонках, а в том, что у меня и фрака-то не было. Пришлось поехать в *Bon Marché* и купить фракную пару. Затем приобрести цилиндр. Благодаря Ваничке, все это удалось довольно быстро. Затем мы с ним поехали в „кулуары“.

Теперь, т. е. не теперь, конечно, а в свое время—„кулуары“ стали обычным и даже затасканным словечком репортерского жаргона. Но представьте себе журналиста, выдержанного в хорошей победоносцевской школе и писавшего во „в высшей степени цензурных газетах“. И такого-то журналиста ведут в „кулуары“...

Вот прошло этому без малого тридцать лет. Но я и сейчас не только помню ошеломляющее впечатление кулуаров, но и как бы вновь переживаю трепет, охвативший меня при посещении Палаты Депутатов.

С ролью и значением французской печати я уже был знаком. Едва только приехав, я зашел в кафе и спросил себе на завтрак, что полагается, и к нему газету „*Intransigeant*“, издаваемую Рошфором. Ее в Россию не пропускали, и знакомство с парижской прессой ограничивалось „Фигаро“, „Голуа“ и т. п. газетами. Я читал, прихлебывая кофе, и чашка дрожала у меня

в руках. Первое мое впечатление было то, что уже началась революция. Такие слова по адресу министров, как „предатель“, „подлец“, „дурак“ и т. п., а по адресу президента республики „старый чепчик“, „ставленник банкиров“ и т. п.—Рошфор выпаливал по дюжине в минуту. И казалось совершенно очевидным, что если можно печатать такие газеты и тискать черным по белому такие слова, то власти уже нет, революция торжествует, и сейчас, из-за угла, начнется стрельба по баррикадам. Но ничего не было похожего на революцию; как в самые обыкновенные будничные дни, мимо кафе шли прохожие, густая толпа приказчиков, рабочих, чиновников, дам и девиц, мидинеток и кухарок, с очаровательною грациею (увы, ныне исчезающе или почти исчезнувшею) подбиравших двумя пальцами свои юбки; меланхолично скрестив руки на груди, стоял насупротив длинноносый, усатый городской; громыхали фургоны и прищелкивали кучера омнибусов и фиакров. „Но позвольте“, — недоумевал я, — „ведь тут ясно напечатано, что министры — мерзавцы и президент — старые чепчики“, а город спокоен, а городской дремлет, а гарсон из кафе подмигивает горничной, и чорт их знает, как это у них происходит! Караул, что ли, закричать? И я так разнервничался, что опрокинул графин, разбил его вдребезги, и это было единственное в Париже реальное нарушение тишины и спокойствия, вызванное статьей Рошфора о министрах-мерзавцах и большом чепце—президенте республики. Свободная печать вырабатывает полный иммунитет к крайностям, преувеличениям и выкрикам политического памфлета, и та доза свободной печати, которая убивает деспотическое правительство, проглатывается, как приятный „*appétitif*“, как рюмка коньяку, привычным организмом политически свободного народа. „Я каждый день с утра глотаю по жабе“ — писал Зола во время дела Дрейфуса. Ну, и что же? Правда восторжествовала, „*La vérité est en marche*“, и Зола вышел победителем...

„Кулуары“ французской палаты депутатов — грязноватые, плохо выкрашенные, выцветшие, как все французские правительственные учреждения — были полны народа. Две трети составляли корреспонденты, репортеры и редакторы газет, которые интервьюировали, одну треть — депутаты и министры, которых интервьюировали. Все были в кургуzych пиджачках и шляпах, надвинутых на затылок. Единственный джентльмен среди этой, такой будничной, такой затрапезной толпы, был

издатель „Голуа“, Артюр Мейер—в безукоризненном „рединготе“ и цилиндре. Издатель роялистского органа для высшего общества носил, казалось, частицу своей политической программы не только в рединготе, но даже в гетрах и перчатках. Все же прочие, включая министров, поражали небрежностью, с какою были одеты. И все тут было небрежно, вплоть до курьеров и сторожей, в таких же кургузах, как у министров, пиджачках; они сидели у дверей и еле привставали, здороваясь с министрами. „Bonjour, m-r le ministre“ „Bonjour, mon brave!“

„И это власть!“—шептал я побелевшими устами, вспоминая, каким орлом входил в департамент любой Максим Петрович.

Правительство представило в Палату закон против анархистов, вызванный убийством Карно. Я наслушался всех лучших парламенстких ораторов Франции, в том числе и нынешнего президента республики, Мильерана. Но не столько эти новые и острые ощущения увлекали меня, сколько наблюдения за газетной братией—за моими счастливыми коллегами. Меня поражала прежде всего организация корреспондентской службы. Обширный телеграф был тут же, и телеграммы иностранными и провинциальными корреспондентами либо спускались прямо вниз, в аппаратную, на особых блоках, либо сдавались свернутыми в трубочку курьерам. Одним только нам, русским корреспондентам, спешить было не для чего и не зачем. Сплошь и рядом случалось, что в конце заседания мы читали уже отчеты о начале, напечатанные в „Тан“ и др. дневных газетах, выходящих в 3 часа. Помню старого газетчика, тайком пробиравшегося на галлерею журналистов и продававшего свежие номера. Удивительный это был старичок. Больше на русского похож. Продаст десяток номеров и примостится где-нибудь сбоку, жадно слушает прения, и о коммерции забудет...

Я почти ни с кем из корреспондентов не знакомился. Это были люди ремесла, профессионалы. Рослые и здоровые англичане, потрепанные итальянцы и испанцы, какие-то греки, румыны—чистокровные репортеры, в общем. Немцы казались образованнее и серьезнее, но они были необщительны. Французы были отделены от нас карантинном, и смешиваться с ними, как в нашем ярусе, так и в нижнем, было почти физически невозможно. Когда прения затягивались, и пора было уже отправляться в редакцию, они без церемоний кричали „aux voix!“

(голосовать!), и хотя председатель неистово звонил в колокол, они еще неистовее шумели.

Русская жизнь, вся в общем и целом, и журналистика, как моя профессия, в частности, — впервые представилась мне в их настоящем виде. Я понял, что моя родина — страна примитива, несложного, простого состава, и, если она может быть названа страной неограниченных возможностей, то в таком же смысле, в каком это говорится о ребенке, едва научившемся лепетать. Я впервые понял, что такое культура страны, и что культура, в сущности, далеко не совпадает с образованностью. Помню, два моих французских приятеля — Жюль Буа, в то время начинающий писатель, и Франсис Шевасю, даровитый фельетонист „Фигаро“, „Жиль-Блаза“ и других газет, отправились как-то кататься в Булонский лес, захватив вместе со своими дамами также и меня. Ночь была очаровательная — мягкая, нежная, какая бывает именно в этом поясе, у нас, напр., на Украине. Огромный парк был погружен в темный полумрак, и только местами из-за листвы вырывались яркие снопы электрических ламп вместе со звуками румынских и цыганских оркестров. Мечталось. Хотелось поэзии, сказки, очарования. Кто были эти дамы, в роскошных шляпах и таких элегантных туалетах? Вероятно, какие-нибудь модистки или, быть может, в лучшем случае, *demoiselles de bureau*. Но почему они были, как герцогини? Почему, хотя они были в десять раз менее образованы и просвещены, чем курсистки и студентки, которых я знал когда-то, и дамы, писательницы, со стриженной головой и папиросой в зубах, которых я знал теперь, — они представляли всем обликом своим, голосами и манерой речи, бесконечно более совершенную и законченную ступень культуры? Почему во французском языке так много закрытых, стыдливых, сдержанных в гортанной и небной плоскостях, звуков, и почему мы, как вороны, каркаем с открытым ртом, и всю свою фонетику выкладываем наружу? И так как было тепло, мечтательно и благоуханно, то я, сам не знаю как, стал заглядываться на звезды, и читать Пушкина. Мне казалось, что гармония его стиха так совпадает с поэзией этой удивительной ночи, молчащей и полной отголосков; темной и светящейся купами фонарей. „Ах, как жестко“, — сказала одна из дам, — „я не понимаю, конечно, смысла, но это дерет ухо“. Пушкин дерет ухо...

Я впал в уныние.

Все тут забежало вперед. Милые, молодые французские литераторы ставили меня, с моею полу-варварской наивностью, в тупик. Жюль Буа подарил мне свои романы, которые мне не понравились, и главным образом, тем, что он немилосердно врал про Заратустру (Нищие только что входил в моду во Франции) и каких-то цариц Вавилона, которые будто бы лобызают ступени храма, добываясь чего-то „au delà“, а какого „au delà“ и сами не знают. А сам он жил в темноватой и грязноватой улице Шапталъ, вроде нашего Дегтярного переулкa, в двух комнатенках, и я видел стоптанные дамские туфли без задников, которые он тщательно убирал, когда я к нему являлся. И причем тут царицы Вавилона? А когда появились отчеты о похоронах Карно, то в „Фигаро“ и др. газетах, среди знатных иностранцев, я встретил и свое имя, со следующим прибавлением: такой-то „surnommé Aurélien Scholl de S. Pétersbourg“. Орельен Шоль был в то время кумиром французских деми-монденков, кулисье, вообще, бульварного люда, и написать это—значило, сделать меня прямо знаменитостью. Когда я сказал Буа, что дескать, топ ами, зачем вы тут про Орельена Шоля наврали — он открыто блеснул глазами и ответил: „Но ведь это de la jolie réclame“. „Ах, Буа, Буа“, — сказал я — „все-то вы врете, вот и в романах своих врете про какую-то Семирамиду“. Буа, однако, нисколько не обиделся, а молвил только:

— Hein? Mais il faut quelque chose de nouveau...

И потащил меня завтракать, полагая вопрос исчерпанным. Словом, как некогда „европейца все вниманье народ сей чудный привлекал“, так тут было — наоборот. И когда я попал в Антверпен на международный конгресс журналистов, то испытал еще более гнетущее и тупое чувство. Журналисты были похожи всем — и костюмом, и манерами, и видом своим — на коммивояжеров и бакалейщиков. Разговоры шли о том, как отправлять подешевле телеграммы, пересылать с курьерскими поездами клише, и заказывать полегче бумагу. Я все ждал, что кто-нибудь, наконец, встанет и скажет: „Господа, с печатным словом следует обращаться честно. Вспомните, что завещал нам наш великий русский писатель“... Ну, как водится. Но и слова „писатель“ я ни разу не слышал. От России в президиуме заседал М. А. Загуляев, некогда сотрудник „Голоса“, а тогда „Нов. Времени“ и нашего дипломатического официоза „Journal de S. Pétersbourg“. Так как

Загуляев имел совершенно корректный вид, носил ложенный цилиндр и даже слегка припудривал лицо, то он представлялся в числе прочих королем или королевой — не помню, и нас, русских журналистов, не только словом, но и взглядом не удостоивал. На третий день эта биржа бакалейщиков и коммивояжеров до того мне опостылела, что я снова уехал в Париж. Было уже позднее лето. Палата разъехалась на каникулы. Я просиживал целые дни и вечера на бульварах в кафе и досыта не мог наглядеться на изумительную парижскую толпу. Не хотелось ни с кем говорить и всего менее тянуло к соотечественникам, которых и из литературной братии, особенно в то время, в Париже скопилось множество. Свои были не занимательны и как-то скучны, — скучны по новому. Именно здесь, в Париже, я видел их с какой-то другой стороны, вот вроде того, как Анна Каренина, уже захваченная интересом к Вронскому, вдруг увидела оттопыренные, большие уши мужа. Французы были гнетуще непонятны. Однажды, помнится, я беседовал с романистом Франсом (не Анатолем, а другим — тоже написавшим с десяток романов). Это был очень простой, интеллигентского вида, не очень молодой француз, с открытым, хорошим лицом, и детей у него была куча — одним словом, будто и не француз. Говорили о „Крейцеровой Сонате“, которая в то время только что появилась в переводе. „А ведь согласитесь, дорогой Франс, — заметил я, — что есть что-то тревожащее в половой любви, какой-то осадок раскаяния. Неужели вы не задаете себе вопроса, почему вы любите“. „О“, — ответил он просто, — „*parce que Ça me fait plaisir*“. И он запыхтел своей трубкой... Я замолчал и думал: „Вот скажите этак-то нашему интеллигенту, — люблю, потому что это доставляет мне удовольствие!“

Скучно там, на родине; непонятно — здесь, на чужбине.

Раз как-то вечером, в увеселительном саду, я столкнулся с А. А. Плещеевым. Он проживал в Париже свою часть наследства. Я упоминал уже об этом феэрическом наследстве, более трех миллионов, упавшем, как в сказке, на голову старику А. Н. Плещееву от какой-то чуть не троюродной тетки, да еще с немецкой фамилией. Семья Плещеевых отличалась редкой добротой и великодушием. Старик давно уже пользовался щедрыми субсидиями Литературного Фонда и, получив наследство, первым делом уделил толику Фонду, а затем

стал раздавать деньги товарищам и сверстникам. Наступил, можно сказать, золотой век русской литературы. Вдруг у П. И. Вейнберга, например, появился новый английский плед, а на голове новая щегольская шляпа. Все понимали, откуда это. Дети Плещеева, выделенное им, не отставали от отца. Младший сын, Николай, был измайловский офицер, и от его части наследства, собственно, хорошо было измайловским офицерам. Журналистика же процвела от старшей линии плещеевского наследства. А. А. Плещеев решительно не мог себе вообразить, чтобы кто-нибудь из его товарищей от него ушел с пустыми руками. У него была записная книжка, куда он аккуратно вносил рубли и трешницы, когда либо у кого-либо взятые займы. А у кого он не брал займы? И всех заимодавцев своих он почитал долгом одаривать. „Да возьмите тысячу“ — говорил он мне, угощая завтраком от Кюба. „Да не надо, А. А.“. „Ну, возьмите пятьсот!“ „И пятьсот не надо. Понадобится — возьму.“ А. А. был очень этим огорчен и даже надулся. Когда я встретил его в Париже, от его миллиона осталось уже тысяч 75, не больше. Но трап он вел прежний. Ему неизменно сопутствовали два домашних доктора — один по внутренним, другой — по нервным болезням, так как А. А. Плещеев, сколько я его знаю, всегда был убежден, что чем-то болен, и смерть караулит его за углом. Обоих докторов он таскал с собою всюду — в театр, в баню, в парикмахерскую. Когда садились за обед или ужин, оба доктора с внимательнейшим видом изучали меню и заботливо устраняли из него все, что могло повредить здоровью А. А. Плещеева. Ничем нельзя было так огорчить А. А., как сказав что-нибудь ироническое по поводу его домашних врачей, которых от хорошей еды и хорошего жалованья раздуло горой. Это были, наоборот, „герои труда“, жертвы медицинского долга и переутомления. Мы пообедали как-то в компании у Дюфура или какого-то другого именитого французского ресторатора, т. е. Плещеев, я и два доктора. Плещеев выпил немного красного вина с водой; доктора же, которые были не дураки выпить, посоветовали мне с лечебной целью отведать разных сортов напитков. А. А. смотрел грустными глазами и вздыхал.

— Вот скоро деньги кончатся, — сказал он мне, совершенно с таким видом, как будто бы говорил: вот скоро наступит осень, завянет лист, засеребрится иней, и так как

это неотвратимо, то юнкер Шмит из пистолета должен застрелиться.

Затем он помолчал, обнял меня и прибавил на прощание:

— Кланяйтесь там... Должно быть, теперь уже скоро .. Да... Скажите, что скоро... Деньги кончаются...

И уныло зашагал по панели, поддерживаемый двумя докторами.

XI. «Касса взаимопомощи». — Г. К. Градовский. — «Биржевые Ведомости».

Вместе с финансово-экономическим оживлением, в начале девяностых годов чуть-чуть стала проходить и обывательская оторопь, вызванная тяжелою свинцовою реакцией, которую внес царственный „хозяин земли русской“, Александр III. Состояние обывателя — разумею интеллигентного (по терминологии Щедрина „русский культурный человек“), — было в 80-х годах истинно плачевное. Это была именно оторопь. Не говорили, а шушукались. Всякое социальное общение, всякий признак такого общения — уже сами по себе, представляли нечто предосудительное. Новый университетский устав называл студентов „отдельными посетителями университетов“, и эта частная квалификация могла быть с успехом применена ко всякого рода звания и состояния людям. Все были „отдельные посетители“, индивидуальные визитеры житейского поприща. Отдельный посетитель — кто бы он ни был — чиновник, рабочий, купец или студент, литератор или аптекарь — делал свое отдельное „посетительское“ дело, и, отдав его, скрывался в свою норку. Корпоративная связь, или профессиональная, или цеховая, во всяком случае, носила в своем зародыше „действие скопом“, а действие скопом — хотя бы это было хоровое пение — есть уже один из признаков „революции“. Обывательская оторопь в том, главным образом, и выражалась, что люди избегали взаимного общения инстинктивно, даже без начальственного о том предписания — а начальство, разумеется, где и как только могло, содействовало распылению общественных и профессиональных групп. Распыляло и повелевало.

Литературная среда, разумеется, состояла особо на примете, и принуждена была вести себя тише воды, ниже травы. Единственным учреждением литературного оттенка был „Литературный фонд“, выдававший пособия нуждающимся литераторам, и иногда предстательствовавший — в торжественных

случаях, например, на юбилей Д. В. Григоровича. Среди тусклых литературных явлений этих годов юбилей Григоровича составил в некотором роде событие.

Отпраздновали юбилей у Кюба: речей было много, большей частью бесцветных. Господа литераторы находились уже в порядочном подпитии, так что когда один из них повалился в ноги Григоровичу и, ударяя себя кулаком в грудь, возопил: „Я сын Антона Горемыки!...“ — то трактирщик-француз счел себя вынужденным вмешаться, и, войдя в залу торжества с несколькими метрдотелями, учтиво, но твердо и решительно заявил:

— Pardon, messieurs, je dois travailler...

И очистил залу. „Отдельные посетители литературы“ разбрелись по трактиру, и через час у Палкина В. А. Тихонова плакал на моей груди и говорил:

— Какой позор! Какое поношение! Французик из Бордо заявляет — кому? — цвету русской литературы! — Je dois travailler!

Он выпил еще водки и, сделав зловеще-мрачное лицо, добавил:

— Друг! Вот вам мой завет: бойтесь трезвенников!..

И точно, по слову В. А. Тихонова, если что и объединяло русскую литературу, то это именно более или менее единодушная боязнь трезвенников. В этом смысле, применительно к возможностям, делались время от времени кое-какие попытки. Так, существовали какие-то ежемесячные обеды писателей, впоследствии переименованные в „ежемесячные обеды беллетристов“. Они возникли еще в половине 80-х годов, и однажды участники обеда решили послать приветственную телеграмму тяжело в то время хворавшему М. Е. Салтыкову, подписавшись „ежемесячно обедающие писатели“, Салтыков ответил приблизительно следующее: „Ежемесячно обедающим писателям, туда-то. Благодарю за телеграмму. Ежедневно обедающий писатель Салтыков“. Одно время существовал „Пушкинский кружок“ — нечто вроде клуба, с гостями. Помещался он в Знаменской, как она тогда называлась, гостинице (впоследствии „Северная“, что против Николаевского вокзала). Во главе кружка стояли, кажется, Н. А. Лейкин и ныне здравствующий К. С. Баранцевич. Начали, сколько помнится, хорошо, т. е. не без литературного оживления, но вскоре характер „Пушкинского Кружка“ и его вечеров стал

приобретать черты Приказчичьего и Немецкого клубов. Я не помню уже, при каких обстоятельствах произошла его ликвидация. Но во всяком случае, тень Пушкина едва ли его усыновила, и Арзамасом из гроба нарекла.

Взаимная тяга литературных деятелей, а особенно совершенно беспризорных газетных работников, однако, давала себя чувствовать. Необходимость какой-либо солидаризации интересов, профессионального общения — явления настолько неизбежны, что даже толстовско-победоносцевский автократический дух ничего с этим не мог поделать. На этой почве возникли два учреждения, которым судьба послала относительно долгую жизнь. Это — „Касса взаимопомощи литераторов и ученых“ и „Литературно-артистический Кружок“, впоследствии ставший „Суворинским“ и превратившийся в театральную антрепризу.

„Касса взаимопомощи литераторов“ в просторечии долгое время именовалась „Кассой Градовского“. И точно, основателем и душой этой кассы был Григ. Конст. Градовский. Собственно говоря, глупее конструкции нельзя было придумать, и нужна была, с одной стороны, непреодолимая потребность хотя какого-либо профессионального объединения, а с другой — упрямая настойчивость Градовского для того, чтобы эту кассу осуществить. Весь секрет был в том, что как раз к этому времени был опубликован „нормальный устав“ „похоронных касс“, и Градовский ухватился за этот „нормальный устав“, как за якорь — дескать, коли по нормальному уставу, то и неблагонадежному цеху литераторов разрешат соединиться. О похоронах, понятно, никто не думал. Литературной среде, ее полу-цыганскому быту и, вообще, ни с какой стороны эти заботы о похоронах не пристали. Семьями далеко не все обзавелись, а кто и имел семью, так и тот часто по „несходству характеров“ с женой не жил, как сам инициатор кассы, Градовский. Ну, умрешь, похоронят, как не жил на свете... Только и всего. Это тип кассы весьма пригодный для конторщиков и бухгалтеров, но не для литераторов. Я не говорю уже о том, что и со страховой точки зрения он представлял собой курьез. Выходило, что молодые и полные еще сил члены кассы страховали аккуратно похороны стариков. Все это отлично чувствовалось и понималось, и тем не менее призыв Градовского нашел горячий отклик. Образовался кружок инициаторов, и в их числе состоял также и я. Нача-

лось обсуждение устава. Разумеется, совершенно конспиративно. В качестве конспиративной квартиры, С. М. Проппер, тогда еще сравнительно молодой человек и совершенно, так сказать, холостой, предложил свою „гарсоньерку“ на Морской улице, в низке, в том самом доме, где помещался аристократический фешенебельный Яхт-Клуб. Не знаю, по соображениям ли конспирации, или по врожденному гостеприимству, Проппер сопровождал „обсуждения устава“ приличным ужином и соответствующей закуской. Он был в то время, вообще, крайне обязательный человек, и хороший гурман, и доставал какие-то особые анчоусы и необыкновенную капусту от Штурма, к которой готовил исключительной остроты и пикантности соус. Капуста от Штурма так понравилась учредителям кассы, что обсуждение устава крайне затянулось. Сколько помню, мы обсуждали устав целое лето и многие параграфы были так обильно смочены, что навсегда отзывались сыроватостью. Расходились уже на заре, добрым ясным утром. В сущности проект оставался без изменения, так как Г. К. Градовский не принадлежал к числу людей, которые меняют свои убеждения, и твердо стоял на своем. Комиссия уступала, а Проппер готовил капусту к следующему заседанию.

Где и когда я познакомился с Проппером — не умею сказать. Помню, что чуть ли не в первый вечер знакомства Проппер поведал мне многие секреты своей сердечной жизни и рассказал о том, как одну прекрасную маску из Немецкого Клуба он в шутку убедил в том, что он сапожник, так как де на большом пальце у него толстая, мозолистая кожа, что бывает — о, ирония судьбы! — только у литераторов и сапожников. Проппер выпускал „Бирж. Вед.“ два или три раза в неделю, „ку Витте“ не ходил, любил повеселиться, „sich amüsiren“, и никому не приходило в голову, что этот живой и, повидимому, обязательный „венгерец“ (Проппер считал себя соотечественником Марка Иокая) станет Левиафаном издательского дела. Его перерождение совершилось как-то очень быстро вслед за его женитьбой, о которой он мне также сообщил заблаговременно. Не прошло 4—5 лет после обсуждения устава похоронной кассы в гарсоньерке Проппера, как я уже брал аванс у издателя „Бирж. Вед.“ и писал у него воскресные фельетоны и вел что-то вроде летучего отдела фельетонной хроники. С. М. Проппер, хотя и был ко мне всегда расположен, но о молодых признаниях не было больше речи. Он стал курить тол-

стые сигары, ездить в Наугейм и приобретать приятнейшую округлость форм. Я работал в „Бирж. Вед.“ весьма непродолжительное время, и чувствовал себя как-то на на месте. Странно! Как будто газета имела всю видимость солидности и вескости, и писать в ней можно было с большими удобствами и уже во всяком случае с лучшей корректурой, чем в „Петер. Газ.“, но что-то давило и угнетало дух. Я не понимал читателя, и не совсем ясно постигал физиономию газеты. Благосостояние „Бирж. Вед.“ создало второе, „провинциальное“, издание газеты, и собственно, истинно ценным почиталось то, что годилось для второго издания и в него включалось. Столпом второго издания был Д. А. Линева. В литературе он был несколько известен своими очерками из тюремной жизни, которую, как сплетничали, он имел возможность и случай наблюдать самым близким и непосредственным образом. Я не знаю подробностей его биографии, но он уверял меня, что его звание — „явный прелюбодей“, и что так-де он прописан, на основании паспорта, в участке. Мужчина он был огромного роста, с необычайною, как у Авесаломы, шевелюрой и крупными африканскими губами. Если, точно, существовала такая уголовная квалификация — „явный прелюбодей“ — то она могла быть дана Линева судом, пожалуй, на основании одного лишь акта наружного осмотра. Он работал раньше в московском „Русск. Крѣере“ Ланина, проживавшего на скромной либеральной газете барыши, которые он получал с знаменитой шипучей ланинской смородиновой и грушевой воды. Репутация у Линева была не так, чтобы уже первостатейная в смысле либеральной чистоты, но чем пуще он старался. Он вел в газете провинциальный отдел, вступил в переписку с представителями „третьего элемента“ в захолустных углах, и каждый день писал очерки провинциальной жизни, в которых „изобличал правду“ суконным, но жарко подогретым языком. Он можно сказать, не писал, а выкрикивал, и все время колотил себя кулаком в грудь, напоминая в этом отношении адвоката П. Г. Мирнова, который, когда говорил речь присяжным заседателям, то прибегал при каждом слове к такой же пламенной жестикуляции: „Февраля (хлоп!) 22 (хлоп!) крестьянин Сидоров (хлоп! хлоп!) украл (хлоп!) старое голенище (хлоп! хлоп!)“. Линева пользовался, можно сказать, „бешеным успехом“, и, когда он разошелся с Проппером, то И. И. Ясинский („Независимый“),

заступивший его место, имел перед собою совершенный образец и вполне расчищенную дорогу к сердцам читателя. Вся газета, собственно говоря, строилась по камертону линевской литературы. Проппер был рачительный и ловкий хозяин и „отличный делатель денег“. Разбогатев, он стал держать дом на широкую ногу. Я уже как-то упоминал об его „суаре“, на которых иногда бывал. Хозяин принимал у себя в кабинете, где по стенам у него была развешана замечательная коллекция курительных трубок—воистину, у каждого венгерского барона своя фантазия! „Суаре“ оживляла супруга издателя, бойкая—может быть, даже чересчур,—варшавянка. На этих вечерах неизменно блистал В. П. Далматов. Большой любитель хорошего вина и поклонник прессы, он производил ядовитые тосты, которые принимались обычно за милую шутку всеобщего баловня и шалуна. Я помню как-то в один вечер, особенно людный и оживленный; по окончании обильного ужина, С. М. Проппер пригласил гостей в залу „на маленький сюрприз“, как он выразился. В зале оказался поставленным небольшой стол, с зажженными свечами, и когда гости расселись по стульям, любезный амфитрион молвил:

— Сейчас, как бы вам сказать (это была обычная сказка С. М. Проппера), Дмитрий Александрович (Линев) прочитает по свежей гранке из типографий свое завтрашнее произведение.

С некоторым оттенком очаровательной скромности Д. А. Линеv, откашлявшись в кулак, гласом протодиаконского тембра прочел свое „произведение“. Дело шло о том, что некий полицейский урядник неправo присвоил десяток яиц у бедной вдовы, и в то же время лавочник Сидор Карпов угодил в тюрьму за гнилую кожу, проданную им почтенному труженику, сельскому учителю села Спасского. „Долго ли еще терпеть подобные несправедливости?“—спрашивал в заключение автор и добавлял: „Верим, глубоко верим, что истина торжествует не только в селе Спасском, но и во всем уезде, и, может быть, даже во всей губернии. Со светлым праздником, читатель!“ Когда Линеv воскликнул „со светлым праздником, читатель!“ — Проппер подал знак к аплодисментам. Несколько младших репортеров и конторщиков зааплодировали. Кажется кто-то крикнул „ура“. Литературные гости сидели с напряженно-глупым выражением лиц, но тут шаловливая хозяйка организовала котильон, и можно было вос-

пользоваться оживленным замешательством, чтобы покинуть незаметно литературный салон С. М. Проппера. Была морозная звездная ноябрьская ночь. Я шел, вдыхая полной грудью воздух, и думал. В первый раз у меня смутно зародилось сомнение в значительности и литературном достоинстве газетного призвания. Художественный импрессионизм, который я считал необходимою формою журнального творчества, ибо такова, казалось, природа самого дела, сталкивался с силою противоборствующей, диалектически ему враждебной — с косностью, инерцией, мещанством мысли. Ведь тут, в этой гранке, каждый вершок — мещанин, как в Лире каждый вершок — король...

Банальность — величайшая сила газеты. И вообще, что такое газета? Почему собственно, газета есть отрасль художественной литературы, как я думал? Газета — прежде всего, осведомительница, затем орудие политической мысли, и в третьих, орган гласности, как фактора общественного и государственно-административного процесса. Литература, художественное слово — есть премия газеты, ее приманка, в тесном смысле — „*Supplément littéraire*“, как называются еженедельные прибавления некоторых парижских газет. Русская печать, отчасти под влиянием административных притеснений, находится в романтическом фазисе своего бытия, но уже ширился и расползался лишай газетного мещанства, и, кто знает, может быть, маленькая „биржевка“ и есть провозвестница новых форм усложненной жизни.

Увы, я верил в талант, и поклонялся таланту. А талант — это оригинальность. А талант — это своеобразный, свой собственный подход к вопросам и явлениям жизни. Именно в это время в газетах, за неимением лучшего, возникла полемика о „честности“ и „таланте“. В полемике принял участие и я. Самая тема, в сущности, была нелепа. Между „честностью“ и „талантом“, собственно, нет никакой логической связи, совершенно так же, как между музыкальным слухом и отбыванием воинской повинности. Конечно, обладающий „абсолютным музыкальным слухом“ должен служить в армии, как и не обладающий. „Честность“ есть общегражданская обязанность, а отнюдь не привилегия и не специальное бремя таланта. Но так как между строк под „честностью“ разумелось нечто специфическое, — помните, на балу у губернатора в „Бесах“ фигурирует „честная русская мысль“? — то гово-

рили одно, а думали другое. Весьма забавно, что „Новое Время“, притворившись, что не понимает, в чей огород камешки бросают, решительно заявило, что оно предпочитает „честность“. Полемику пришлось прекратить, потому что выходило совершенно глупо.

В моей душе, конечно, по молодости лет, стоял вопль из чеховского „Иванова“ — „Будь ты проклята, бездарная честность!“ Только с течением времени я начал примиряться с мыслью, что „бездарная честность“ — есть предпочтенная вещь, как, например, солома, которой кроют крыши и топят печи, или кирпич, из которого кладут стены. Бездарная честность — это скопление материала, организованность, сила притяжения, центростремительность. Наоборот, индивидуализм — а он неизменный спутник, более того, неизменная форма дарования — сила отталкивающая, центробежная, во многих случаях дезорганизующая. Тэн в одном из своих ранних опытов, являясь, как всегда, убежденным противником демократии, пишет, что не может себе представить правильно и организованно действующего общества, все члены и классы которого знали бы греческий и латинский язык. Еще труднее, и, вообще, невозможно представить себе классовое общество — а иное тогда и не мыслилось — состоящее из одних одаренных, из ряда выходящих, индивидуальностей. Антиномичность личности и коллективного усилия очевидны.

Линев со своими обличениями урядников-куроцапов и деревенских кулаков был необходим — объективно. Его серость — эта „прозодежда“ банальщины — и была его сила. Заслуга Проппера — если можно считать заслугой инстинктивное влечение издателя к увеличению тиража и неуклонное следование по пути успеха — заключалась в том, что он учуял массового потребителя газеты. В этом и состоит, собственно, газетный коммерческий талант. Торговля опахалами на Шпицбергене, увы, нелепость, так же, как производство муфт и теплых рукавиц у тропиков.

Рядом с Линевым — Градовский. Конечно, Градовский был даровитее, образованнее, литературным калибром крупнее Линева. Но в сущности, сила Градовского была в том же, — в непрестанном, настойчивом преповторении общественно-политических трюизмов. „Направление“ есть вульгаризированное, в интересах текущего момента, философское и политическое мировоззрение. Это — прикладное ремесло мысли,

совершенно так, как врачевание есть прикладное ремесло медицинской науки. Ежедневное писание одинаковых рецептов, гуртовое лечение больных... Градовский был воплощением „либеральной укоризны“. Подобно тому, как добросовестный студент, зная X том, считал себя обеспеченным совершенно от случайностей экзамена по гражданскому праву, так либеральный публицист, прикидывая „эпоху либеральных реформ“ к явлениям реакционной современности, знал твердо и неуко-снительно, что честно служит либеральному направлению. Земля держится на трех китах; судопроизводство—на гласности, устности и состязательности. Волга впадает в Каспийское море—земское самоуправление содействует процветанию местной жизни. Букет для дам презент отличный, борьба с Катковым—долг публичный. И т. д. и т. д. Я нисколько не умаляю значения стойкости и публицистической определенности Градовского. Наоборот, большая заслуга его была в том, что денно и нощно, при всяком удобном и неудобном случае, он повторял, что Волга впадает в Каспийское море, что земство следует сохранять, развивать и совершенствовать. Когда Градовский умер — кажется, в 1916 г.—я писал, что он напоминает мне в тумане и хаосе реакционных дней, „хранителя огня“ из романа Рони о первобытном человеке. Факел, горящая лучина—были величайшим достоянием первобытной общины, и когда племя, гонимое неприятелем или дикими зверями, пробираясь через девственные леса и пустыни, меняло свое местопребывание, самым важным и существенным делом было хранить горящий факел или какой-нибудь иной светильник, чтобы не очутиться без огня, значит, без костра, и не погибнуть от холода и мрака. И, пока кто-то высоко держал над головами бегущих этот источник живительного огня, и был цел язычек пламени,—надежда на спасение не покидала бегущих. Все это совершенно верно, но сама по себе, в своей человеческой полноценности, что представляла собой личность хранителя огня?

Я часто встречался с Градовским, и хотя он был почтенный человек, беседа с ним оставляла во мне такое впечатление, как будто я пожевал соломы. Приблизительно такое же действие производило чтение его статей в „Новостях“. Его рассуждения были не только правильны, но можно сказать, до ужаса верны, и я разделял их всецело. Но именно потому они были совершенно ненужны. Таблица умножения — истина

неоспоримая, но что ее делает совершенно безвкусной — это ее общеизвестность. Я смотрел на Градовского, на его крупную, коренастую фигуру, круглые, ясные и чистые серо-зеленые глаза, на его мощную челюсть — и думал: какой секрет хранит этот человек, неустанно всю жизнь повторяя то в „Голосе“, то в „Новостях“, то в „Луче“, то в „Бирж. Вед.“, что земля имеет форму шара, и Волга впадает в Каспийское море. Он был работоспособен, вынослив, настойчив и упрям. Просидев ночь за бутылкой вина или пива, он окачивал себя холодной водой, и как ни в чем не бывало, принимался за очередную статью о необходимости предоставить земству полную свободу в устройстве санитарной части на местах. Он жил в небольшой, холостой квартирке, где-то на Саперном, в районе Бассейной улицы, и помнится, я был поражен, при виде того, что стены его кабинета до самого потолка были уставлены книгами. Судя по репертуару его либеральных статей, я полагал, что найду у Градовского книгу Джаншиева „Эпоха великих реформ“ и карту России, указывающую, что Волга впадает в Каспийское море, и больше ничего. Ибо подлинно, осматривая свои литературные доспехи, Градовский мог сказать: *omnia mea secum porto*. Когда издателю нужен был стальной стержень для либерального механизма новой газеты — взор его невольно искал Градовского. Это была не только аккуратная производственная мастерская умеренно-либеральных, допускаемых в известных пределах, Гл. Управлением по делам печати, статей; это был — паспорт, аттестат от последнего места. И все — читатели (немногочисленный круг либеральной интеллигенции), и цензоры Главного Управления — знали, что либерализмом „эпохи великих реформ“ будет насыщена каждая строчка. И одни предвкушали, повидимому, удовольствие, а другие спешно протирали глаза, чтобы глядеть в оба.

Я уверен, что жизнь Градовского так и протекла бы без всяких случайностей и серьезных потрясений, если бы его не спутал театр. Я знал многих, весьма почтенных людей, отличных работников своего специального цехового дела, которые срывались и оказывались, можно сказать, над бездной, столкнувшись с театром — этим великим дезорганизатором всякой умеренности и аккуратности. Случилось так, что Градовский написал пьесу. Впрочем, до этого еще случилось то, что его единственная, кажется, дочь, прослушав драматические курсы у Коровякова, стала актрисой. Потом Градовский чуть ли

не сразу написал несколько пьес — „Либерал“, „Гражданский брак“, что-то в этом роде. Они нигде не были поставлены, хотя издание их вы можете и сейчас найти. Написав пьесы и горя нетерпеливым, только одним неудачным драматургам понятным, желанием поставить их, он стал бывать за кулисами и знакомиться с актрисами и их поклонниками. Забыв, можно сказать, свое имя и звание и то, что столько лет стоял „предотчизной воплощенной укоризной“, как паладин либерализма, он дошел до того, что стал ухаживать за Сувориным, основавшим тогда свой театр. Он пренебрегал самыми лучшими поводами для полемических статей, и когда в „Нов. Вр.“ появлялось что-нибудь о необходимости, согласно Шопенгауэру, сечь учащееся юношество — подумайте, какая шикарная и вполне цензурная тема, совершенно в духе „эпохи великих реформ“! — Градовский молчал, потому что надеялся. Он надеялся, а время шло. Время шло, а пьесы не ставились, увертливым Сувориным, и бремя невысказанных либеральных слов угнетало душу Градовского. Если не ошибаюсь, в 1897 г. одна из его пьес — не то „Либерал“, не то „Гражданский брак“, не то „Дочь генерала“ — была, наконец, поставлена, сыграна и канула в Лету вместе с сотнями таких же, никому не нужных и для театра совершенно мертвых пьес. Но это событие имело роковое влияние на судьбу Градовского. Постановка пьесы так резко выбила его из обычного уклада его жизни — такой ясной, прямой и негнувшейся — что он впал в состояние некоторой моральной депрессии. Потом стал заговариваться. Его душевная болезнь тянулась довольно долго. У него были светлые промежутки, потом он значительно поправился, почти совсем, и даже стал писать. Но за десять лет жизнь убежала так далеко вперед, что он не находил настоящего тона. Он безнадежно отстал, как отстал и пересахарился малиновый либерализм „эпохи великих реформ“. Я помню, как печалился и грустил П. И. Вейнберг, когда в 1906 г., читал наши левые — даже не социалистические — газеты. „Дума есть, конституция есть, чего же еще?“ — говорил он, наивно и печально устремляя на меня свои большие глаза. Все трафареты старых либеральных чаяний были превзойдены, и поза „воплощенной укоризны“ потеряла всю свою картинность. А найти новую позитуру человеку не гнувшейся мысли — когда в несгибании, ни на пядь больше, ни на пядь меньше, заключалось все ее значение — было, увы, невозможно...

Так зарождалась трагедия русского либерализма, которой мы тогда не замечали и которой действительные формы открылись только много позже и слишком поздно...

Касса, основанная Градовским, пережила его и сослужила во всяком случае большую службу в скучные дни нашей общественной распыленности. Она выдавала и пособия, и даже какие-то пенсии. Многие самым серьезным образом волновались вопросами о размерах выдачи на похороны. Общие собрания членов сопровождались шумом, криками, бурей. Всегда была оппозиция, и неизменно существовала правительственная партия. Неистовствовали иногда до позднего вечера. Из за чего — понять совершенно невозможно, как нельзя с рациональной точки зрения уяснить, почему визжит, грызет и воет, как оглашенный, молодой щенок. Вероятно, то кровь кипит, то сил избыток. Басил Линеv, долго и неубедительно „ниспровергал“ министерства вечный оппозиционер А. Н. Кремлев, адвокат, журналист, актер, безумный друг Шекспира и бывший мировой судья, отставленный от должности потому, что в своей судейской камере в г. Казани повесил портрет Чернышевского. Репортеры, писавшие отчеты, бросали карандаши и выступали в качестве ораторов. И когда, охрипшие, уставшие, голодные расходились, то чувствовали какое-то облегчение. Во главе правления, несмотря на оппозиционные бури, стояли одни и те же лица — настолько-то здравого смысла хватало, чтобы удержать самоотверженных людей, высчитывавших, сколько приходится на похороны и где раздобыть деньги на них — но зато ревизионная комиссия... о, ревизионная комиссия менялась каждое собрание! Касса просуществовала до самой революции, хотя Союз писателей успел значительно разрядить энергию литературной братии. С революцией, поднявшей настоящие бури, исчезла психологическая, а, может быть, и физиологическая потребность устраивать бури в стакане воды, и, я думаю, по этой причине идея похоронной кассы литераторов перестала тревожить воображение.

ХII. Смерть Александра III. — Основание Литературно-Артистического Клуба.

В 1894 г. умер Александр III. Людям свойственно обольщать себя иллюзиями. Имеются иллюзии, так сказать, штатные, неизменные, и к числу таких иллюзий относится трогательная в своем роде вера в то, что наследник престола, получив власть, немедленно начнет благодетельствовать народу. У Каутского есть статья о Шиллере, в которой он очень тонко замечает, что шиллеровское свободомыслие, в сущности, сводится к либеральному кронпринцу. Скажем больше: кронпринц всегда либерален, т.-е. кажется таким

Германские либеральные бюргеры и даже интеллигенты, тяготевшие к деспотическому и крутому управлению Вильгельма, считали кронпринца либералом, и однажды я был свидетелем, в берлинском *Kammerspiel'e* у Рейнгардта, как вся публика встала с места и приветствовала с довольными и радостными лицами посетившего театр кронпринца. „Вы знаете“, — шепнул мне на ухо немецко-русский журналист, — „он друг Рейнгардта, и постоянно бывает у него в театре“. Оказывается, в этом и заключался либерализм кронпринца. Папаша приказывал разрушить памятник Гейне на Корфу. Либеральный же кронпринц, в ответ на это, с демонстративным видом влачил свою саблю на представлении ведекиндовского „Пробуждения весны“. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы либеральные упования не угасали в сердцах.

Как это ни покажется странным, но у Николая II в бытность его наследником была тоже либеральная „репутация“. Откуда она взялась и почему она могла возникнуть — совершенно невозможно объяснить. Желание родит мысль, а так как либеральный зуд чувствовался во всем интеллигентском существе, то Николай II попал в либералы, правда — умеренные. Я не могу забыть памятной ноябрьской ночи, когда

по приезде Николая II в Петербург из Крыма перед Аничковским дворцом стояла густейшая толпа народа, приветствовавшая нового царя самым восторженным образом, и в этой толпе сколько я видел настоящих либералов, даже пострадавших за свои убеждения, со слезами умиления певших „Боже царя храни“! Даже неукротимых тверских либералов я заприметил, и воображаю, как они густо краснели через несколько дней после знаменитой речи о „бессмысленных мечтаньях“, прочитанной царем на приеме депутатов. Самый главный и красноречивый признак либерализма находили в том, что Николай II оставил себя в полковничьем чине, не произведя в генералы, а также, что он гулял пешком без всякой охраны, конечно, видимой. Это продолжалось 2—3 дня, и не умирающая в сердцах тверских либералов вера в либерального кронпринца вспыхнула с новой силой.

Я в это время, помимо обычной своей работы, редактировал телеграфный отдел петербургской корреспонденции в „Нов. дня“, и эта новая роль телеграфного корреспондента меня некоторое время очень увлекала. По несколько раз в день приходилось бывать в „Телегр. Агентстве“, директором которого состоял очень неглупый, хорошо образованный, приятного вида и обращения барин, Сальманович. В агентстве было всегда много корреспондентского народа, и в том числе иностранцев, приехавших из разных стран на событие такой важности, как кончина самодержца. Иностранцы—французы—называли Николая или „le petit bonhomme“, или „notre cher colonel“. Сальманович загадочно улыбался, но Александра III, коему во веки веков высочайшим манифестом было присвоено наименование „миротворца“, называл не иначе, как „господин Миротворский“. Однажды корреспондент-француз сказал: „А знаете, ведь это вздор, будто „le petit bonhomme“ действительно „petit bonhomme“. Великая княгиня Марья Павловна сказала нашему послу: „В каждой складке его плаща сидит самодержец“. А? Каков маленький полковник?“ Но большинство не верило этому, и не хотело верить, и либеральный кронпринц с неделю владел умами и сердцами...

Быть дофином, вообще, большая удача. Дофин а priori награжден талантами, добродетелями и мудростью. Кроме дофина, уже вступившего в отправление своих царских обязанностей в литературно-газетном кругу были свои „дофины“, которые, в качестве „либеральных кронпринцев“, сильно демонстри,

ровали против отцов своих. Главный газетный дофин—А. А. Суворин—вел определенную линию против отца, и в „Нов. Вр.“ партии старого короля и дофина находились в совершеннейшей вражде. Носились слухи о том, что в одну ненастную ночь дофин разбил газетные стереотипы, и газета опоздала. Тогда на следующую ночь явился сам нововременский вседержитель, и также разбил стереотипы палкой. Газета во второй раз опоздала. Дофин „Пет. Газ.“—Н. С. Худеков был фигурой весьма красочной. Он кончил училище правоведения, потом недолгое время служил в конной артиллерии, а затем старик С. Н. Худеков назначил своего цесаревича редактором газеты. Если у С. Н. Худекова были все-таки кое-какие старые связи и счеты с литературой и театром (он написал в сотрудничестве с небезызвестным поэтом юмористом Жулевым пьесу „Петербургские Когти“, не сходявшую долгое время с репертуара), то у молодого Худекова окончательно не было никакого литературного родства и воспоминания. Я думаю, что в глубине души он несколько даже презирал литературу. Несмотря на выгодное положение газетного цесаревича, Н. С. Худеков, вероятно, очень горевал, что вместо того, чтобы украшать какую-нибудь канцелярию, в ожидании камер-юнкерства и вице-губернаторства, вынужден был знаться с репортерами, писателями и журналистами. Он состоял членом сельскохозяйственного клуба, где вел довольно большую игру, ездил, как полагается, в балет и французский театр, и всем своим складом, бытом, поведением и всеми вкусами был типичным дворянским „недорослем“. При крайней узости взглядов и ограниченном образовании, не любознательный и не любопытный, он обладал, однако, в превосходной мере коммерческой сметкой. Для С. Н. Худекова, во всяком случае, газета была делом рук его. Он не мог не чувствовать себя связанным с группой сотрудников, работавших на него и создавших благосостояние газеты. Для дофина ничего этого не существовало. Он знал только, что имеется такое учреждение—„редакция“—где составляется газета, и что имение, которое отец ему подарил, куплено на засаленные бумажки, внесенные в эту контору подписчиками и газетчиками, и поэтому нужно, чтобы было побольше таких засаленных бумажек. Ему, впрочем, и не надо было делать над собой никаких усилий. Он сам органически принадлежал, по своим вкусам и влечениям, к уличной черни. С водворением молодого Худекова, газета приобрела

нестерпимо желтый оттенок. Цесаревич являлся по утру в редакцию и вызывал интервьюеров, с которыми запирался в кабинете и совещался. Что лучше подать на завтра: вопрос о том, нужно ли носить калоши, или же о том, как относятся артистки к свободной любви? Наконец, вопрос решен после детального обсуждения, и интервьюер мчится к разным знаменитостям. Мчался ли, впрочем? Я думаю, что, предупредив Вальцеву или Савину по телефону о том, какие она носит калоши, и как относится к свободной любви, он врал там что-нибудь, зная наперед, что протестов не будет. Часть статейная все укорачивалась да укорачивалась. В газетном подвале печатался непременно роман из „уголовных бытов“. Для этой цели были привлечены небезызвестный Н. Э. Гейнце из „Света“ и сравнительно молодой, одаренный, но опустившийся романист Цеханович. Он писал свои романы в типографии, и часто, приезжая из театра, чтобы написать ночную рецензию (это было категорическое требование цесаревича Худекова), я заставлял Цехановича за стаканом вина или бутылкой пива и писаньем очередного фельетона. Особенным успехом пользовался роман Цехановича „Петербургская Нана“. Он написал уже несколько частей, когда молодой Худеков приказал ему кончить роман, и так как Цеханович медлил, то в одну прекрасную ночь редактор внезапно написал „Эпилог“. „Нана вошла в конюшню“—значилось в „Эпилоге“,—„рыжая кобыла жевала овес, запустив голову в корыто. Нана погладила кобылу по лебединой шее, как вдруг кобыла сильным взмахом заднего копыта ударила красавицу в висок. Все было кончено. Кобыла, как ни в чем не бывало, продолжала жевать овес“. Цеханович немногим пережил свою героиню и умер не столько от огорчения за судьбу красавицы Нана, сколько от неумеренного употребления алкоголя.

Когда стало известно, что дни Александра III сочтены, у молодого Худекова взыграло сердце: он чувствовал по напряженному пульсу публики, что можно сделать хороший тираж. Но как? Все сведения, касавшиеся высочайших особ, проходили через придворную цензуру и подвергались, даже со стороны репортерского слога, тщательной нивелировке и переделке на официальный лад. „Государь император изволил проследовать“, „милостиво почтил разговором“ и т. д. Репортерские отчеты не могли не быть тавтологичны, и я до сих пор не понимаю, зачем газеты содержали штат придворных кор-

респондентов—Прокофьева, Коровина, Готберга и др. Но у молодого Худекова была „идея“. Он командировал репортера Готберга в Ливадию, причем было установлено, что едва Александр III испустит дух, как Яша Готберг даст срочную телеграмму:—„Пришлите денег“. Был ненастный ноябрьский день, редакционные занятия уже заканчивались, когда была получена телеграмма „Пришлите денег“. А через полчаса все улицы Петербурга были наводнены заранее напечатанным „экстренным прибавлением“ „Петерб. Газ.“ под заглавием—„Плачь, Россия!“ Еще во дворцах не знали о смерти Александра III, как Россия уже плакала, а цесаревич Худеков собирал гривенники. В нашем неповоротливом газетно-издательском деле это был „рекорд“. Но успех порождает зависть. Экстренное прибавление к „Нов. Вр.“ вышло в 7½ час., „Новостей“ в 8 ч. Конечно, „пришлите денег“ — это так, но почему самоприсылание денег удалось именно „Петерб. Газете“? Трудно себе представить более лакейское произведение, чем это „экстренное“ „Плачь, Россия!“ Увы, через несколько дней Главн. Упр. по делам печати запретило розничную продажу номеров „Пет. Газ.“ за избыток патристических и верноподданных слез. Цесаревич Худеков был аффрапирован этим обстоятельством до последней степени. Натура слишком элементарная, он не понимал, что и в самом лакействе следует соблюдать „оттенок благородства“. На некоторое время он затих, пока не заплакал от счастья над вновь разрешенной розничной продажей номеров.

Это было тяжелое для меня время. Приближалась зрелая полоса жизни. Между тем пустота и ничтожество окружающих дел и людей все возрастали. Я втягивался, по должности рецензента, в театр, но писание рецензий в „Петр. Газ.“ с прибавлением неизбежных „антрактных разговоров“ утомляло и не давало душе отрады. Просидев часа 4 в театре, приходилось ехать в типографию и писать 200—250 строк единым духом, под грохот типографских машин и лязг ножиц, которыми метранпаж отрезал листки по мере того, как они заполнялись, и отправлял их в набор. И главное—что же дальше? Дальше-то ничего не было. „Коко“, как называли молодого Худекова, все прочнее и прочнее утверждался на своем законном „маестате“. Газета становилась все глупее и тошнее. Интересы все суживались да суживались. Вяльцева все чаще и чаще высказывала свои взгляды по вопросам

жизни, политики и литературы. Тоска входила в душу. Редко случались отвлекающие эпизоды. К таковым относится, например, кратковременное редактирование мною „Вестн. Печатной Выставки“, которую затеял известный в полиграфическом деле Р. Р. Голике. Выставка была устроена в Соляном городке и там же выходил маленький „Вестник“, на глазах у посетителей набиравшийся и печатавшийся. Я забавлялся своей редакцией в 1½ сажени площадью и своей командующей ролью. Однажды выставку посетил Николай II. По этому торжественному случаю, посторонней публики на выставке не было. Царь шел—изволил проследовать—медленным, эластическим шагом вдоль всей выставки. Я стоял у своей витринной редакции вместе со своим маленьким штатом, и растерянно глазел на царя. Приэтом забыл поклониться, как делали все. Николай II посмотрел на меня недобрыми, злыми глазами. Этот взгляд отнюдь не благодетельных царских очей остался у меня в памяти навсегда. И когда потом мне приходилось иногда слышать от приверженцев царя, что он, в сущности, добрый,—я вспоминал этот холодно недоброжелательный, безжалостный взгляд, брошенный им на мою фигуру. Это был взгляд непрощающего и мелко-мстительного человека.

Дни шли, и в противность французской поговорке, были похожи один на другой. Моя мечта в то время — так и не осуществившаяся и, может быть, на мое счастье не осуществившаяся, — была „создать газету“. Мне не нравилось в газетном шаблоне решительно все: расположение частей, разработка фактического материала, подбор статей, манера их писания. Как будто, все усилия были направлены на то, чтобы чтение или просмотр газеты сделать наименее удобными для читателей.

Мне казалось, что задача газеты уловить интерес, злобу дня, и вокруг этого основного располагать все остальное, тогда как обычный прием газетно-редакционной техники состоял в том, чтобы говорить обо всем, *de rebus omnibus et aliis quibusdam*—и если у кого-либо переносица почешется, то и об этом упомянуть. Но за множеством частных интересов, в сущности, разобщающих читателей, исчезал интерес общий, связующий читателей единым потоком возбужденного внимания. Когда я развивал эти идеи, опытные практики и деловые люди не скрывали улыбки. Денег никто на опыты

не давал и в мои планы не верил. Так я и не стал газетным Колумбом! И хотя это обидно для самолюбия, но должен сказать, что опытные люди и практики были правы: успех всякий, а газетный в особенности—создается прежде всего пошлостью, созвучностью редакторской души тысячам и миллионам. Когда спустя лет 10—15, один финансист обратился ко мне с вопросом, как основать доходную газету, я ему сказал: „Я бы назначил редактором, например, старшего дворника большого петербургского дома, ну, положим, № 10 по Пушкинской улице. Я уверен, что такой старший дворник является идеалом, по складу ума, характера, взглядам и убеждениям, для всех младших дворников. А подумайте, сколько их!“ Финансист, кажется, обиделся и счел мои слова за шутку дурного тона. Но я говорил совершенно серьезно. У одного молодого французского поэта я как-то прочитал очень умный генезис любовного чувства. Главным образом—гласит стихотворение—любят потому, что тебя любят, ибо в глубине души любят только самого себя, и отсюда чувство взаимности, как совпадение вкусов—„conformité des goûts“.

Организаторская жилка билась во мне, и эта особенность моей натуры многое должна объяснить в зигзагах и уклонах жизненного пути. Так случилось, что я стал инициатором и одним из организаторов так называемого Литературно-артистического кружка, ставшего впоследствии „Суворинским“ и сыгравшего не малую роль в нашей общественной и театральной жизни.

Я уже упоминал о том, что всякого рода общественные, профессиональные и даже художественные организации являли собой такой же предмет концессионного оборота, как и издание органа печати. Блаженны были владеющие... Одним из таких владеющих являлся скромный бухгалтер не то какого-то банка, не то государственного контроля, Костромитинов. Это был человек под пятьдесят, старый холостяк, как будто целиком выхваченный из старинного каратыгинского водевиля. Он не пил, в карты не играл, и единственную страсть его было „сценическое искусство“. Жил он в маленькой и грязноватой меблированной комнатке на Фонтанке у Чернышева моста, увешенной портретами актеров и засохшими венками, с трогательными надписями. „Бескорыстному любителю сценического искусства, Н. И. Костромитинову“, „Создателю роли экзекутора в „Вицмундире“ Н. И. Костромитинову, „Прежде

скончались, потом повенчались“, 2-ое Парголово, 14 июня 1879 г. Вместе с несколькими такими, же как он, бухгалтерами, экспедиторами и экзекуторами, он много лет назад составил любительский кружок, и так как в департаменте у него был приятель экзекутор или экспедитор, такой же любитель драматического искусства, как он сам, то Костромитинов не только исходатайствовал для своего кружка титул „Артистический“, но и втиснул в устав контрабандой несколько параграфов, придавших кружку характер полу-клуба, полу-общественного учреждения. Фактически, за неимением средств, кружок бездействовал. По целым часам Костромитинов стоял пред окном и смотрел на мутную, серую Фонтанку, изнывая в бездействии. А между тем какое богатство у него было в руках! И он любовно извлекал из портфеля устав „Артистического Кружка“, на котором, собственной его высокопревосходительства рукой, было начертано: „Утверждаю. Министр внутренних дел Тимашев“.

Я сообщил как-то А. П. Коломнину, об этом уставе, и он сразу ухватился за дело. А. П. Коломнин был, собственно присяжный поверенный, но в литературном мире, как владыка авансов по всему нововременскому издательскому и книжному делу, имел большое влияние и огромные связи. Коломнина называли „здравым смыслом“ „Нов. Вр.“. Он ничего не писал, и не особенно много говорил. Позднее, когда уже возник театр Суворина, его прозвали за кулисами „Статуя Командора“. Действительно, было что-то каменное, негнущееся, холодное, как мрамор, во всей его высокой, сухой фигуре с непропорционально малой головой, и холодными на вид, близорукими глазами. Он был очень неглуп, проницателен, сдержан, как будто благоразумен, но, в сущности, очень добрый и мягко-сердечный человек. Если бы не суровая манера обращения и некоторая преднамеренная резкость разговора, его бы можно было с кашей есть. Холодная маска выручала его. Притом, по вдовьему своему положению и склонности к прекрасному полу, он был уязвим и с этой стороны—самой опасной. Он состоял покровителем—совершенно бескорыстным—всех артисток, корифеек, хористок, и аккуратно, в разные сроки, посылал им конфеты, цветы и маленькие подарки. Прикосновенный к литературному миру с одной стороны, он, как адвокат, другим крылом примыкал к миру адвокатскому и административному. Он был центром целого кружка пожилых, стремя-

щихся пожуировать, состоятельных людей, составлявших заметный сектор тогдашнего „всего Петербурга“. Его alter ego и закадычным приятелем был, также прикосновенный к журналистике, тайный советник Я. А. Плющевский - Плющик. Плющевский - Плющик состоял юрисконсультком министерства внутренних дел, был человек со связями, кажется, приятель Дурново, и кроме того, в высшей мере аматер женской красоты. Кажется, он был немного музыкант. Может быть, и не был, но во всяком случае, писал музыкальные рецензии. У него был стаж музыкально-семейный, так сказать, ибо в свое время он был женат на оперной певице Рааб, с которой давным-давно разошелся. Когда я познакомился с Плющевским - Плющиком, он писал рецензии преимущественно об оперетке, французском театре и концертах в „Новостях“ и подписывался „Veto“. Он накладывал свое „veto“ довольно часто, и особенно когда рецензия касалась артисток. Злые языки говорили, будто на всякое „не позволяю“ хорошенькой артистки следовало „Veto“ Плющика-Плющевского не смотря на то, что у него обыкновенно бывала фаворитка en titre, à la Ментенон и Помпадур, и сверх того мелькали мелкие „Зулейки“, как их называла остроумная и приобретшая разнообразную известность (вплоть до уголовной) М. Я. Пуаре.

Наконец третьим членом и столпом будущего клуба был адвокат Н. О. Холева. К журналистике он, собственно, не имел никакого отношения, кроме разве того, что любил рекламу паче всего. Он очень нравился женщинам, так как был красив, гибок, строен, глаза у него были, что две греческие маслины, и весь он как-то сверкал на солнце жирным блеском, как умащенный метатель диска на олимпийских играх. Он был добрый малый, но препустой человек, и я всегда удивлялся на примере Холевы тому, как мало нужно для адвокатской славы. Еще когда я был совсем начинающим журналистом, у меня произошло небольшое столкновение с Холевой по поводу одной моей статейки, где я „обличал“ наивно-грубые приемы адвокатского саморекламирования. Холева, например, носил необычайное серое пальто в талию, какого никто никогда не носил, в то время как другой такой же адвокат-карьерист, Адамов, носил пожарную каску и гулял по Невскому с необыкновенной величины сен-бернар. Разумеется, прохожие пялили глаза и спрашивали: кто это? А реклама гуляла по улицам в сером в талию пальто, медной каске и с огромным сен-бер-

наром. Холева очень обиделся статейкой, но потом оказалось, что он и обиделся, собственно, больше для того, чтобы получить еще одно упоминание в газетах. Мы с ним были приятели, и я часто у него обедал. Он жил долго *maritalement* с Вяльцевой, и своей карьерой она обязана ему. Помню мое изумление, когда после сытного обеда (Вяльцева была мастерица по этой части) Холева сказал: „Вот Сонки (профессор пения) находит у Насти голос... Ну-ка Настя, спой!“ Настя не заставила себя долго просить, и что-то завывала. Это было так ужасно, что надобно было все обаяние вяльцевской улыбки, чтобы смягчить впечатление. Сонки действительно сделал чудо. Вяльцева сильно и ревниво любила Холеву, он же порхал и всему предпочитал картишки. Кроме того, у него была еще курьезная слабость: он считал себя „композитором“, хотя дальше выстукивания одним пальцем польки „Котлетка“ его музыкантство не шло. Но раза два-три в год у музыкальных издателей появлялись польки, вальсы и мазурки „соч. Н. О. Холевы“, с горделивою пометкою „Opus 14“, „Opus 23“. Эти „опусы“ писал Холеве какой-то бедный немец настройщик по 25 р. за „опус“. Холева был так наивен, что рассылал свои музыкальные „опусы“ приятелям и известным музыкантам. „Что скажете про мой новый „опус“?, — спросил он однажды не то Буренина, не то Дьякова. Тот немедленно ответил: „и первый, и последний опус суньте в...“ И отчеканил очень энергичную рифму.

Дело по организации клуба закипело. Плющевский-Плющик взял на себя проведение устава, Холева—организацию карточных вечеров, а это значило, что он брал на себя почетную обязанность проигрывать известную сумму денег всем желающим; Коломнин же, зная тайные мечты и замыслы А. С. Суворина, подготавливал захват костромитиновского кружка, со всеми его экспедиторами и экзекуторами, редакцией „Нов. Вр.“. На первых же выборах старшин („дирекции“, как значилось в уставе), в председатели был избран А. С. Суворин. Как один из инициаторов, был избран членом дирекции также и я, и почтен таким же званием Костромитинов. Слово „оккупация“ тогда еще не было в ходу. И вообще, у Костромитинова в запасе было немного слов. Но он глядел грустными и печальными глазами на дорогую, ныне ни на что ненужный устав, с росчерком „утверждаю“, и не находил себе места. В первый раз он явился к себе в меблированную комнату в сильном градусе.

Сравнительно скоро он умер, и друзья его, экзекуторы, положили на глазетовый гроб все увядшие его венки и копию устава с надписью „утверждаю“.

Новый клуб или Литературно-Артистический кружок дебютировал несколькими вечерами, устроенными в помещении зала Павловой, на Троицкой улице. В этом помещении, кажется, приютился докторский клуб, который и переуступал помещение нашему кружку. На вечерах кружка бывало довольно много театрального люда, журналистов и вообще, веселящейся публики. Пели, декламировали, танцевали (последнее меньше всего удавалось). Лично на меня значительное и сильное впечатление производили рассказы И. Ф. Горбунова, в интимной обстановке. Обстановка эта заключалась в том, что так как И. Ф. приезжал из театра уже с некоторым осадком хмельных дрожжей, то задача дежурного директора была, во-первых, перехватить его по дороге к Палкину и завести на Троицкую ул., а во-вторых, посадить за стол в одной из задних комнат, приказав подать водки, пива, колбасы и селедки. Это было строгое меню; допускались еще разве огурцы и грузди, но ничего более, — ни в каком случае вино или изысканные блюда и закуски. Мне приходилось, в качестве дежурного директора, так сказать, исполнять роль хозяина при Горбунове. Сначала следовало с ним расцеловаться, потом выпить. После двух рюмок, И. Ф. уже не нуждался в „поддужном“ и шел, так сказать самостоятельно. Оставалось только следить за тем, чтобы графин во-время заменяли новым. С конца первого графинчика И. Ф. без всякой просьбы, по собственной инициативе, приступал к своим изумительным рассказам. Мастерство его было необыкновенное. Он не менял голоса, не менял лица. Он пил водку, тыкал вилкой в тарелку, глядел, как всегда, своими маленькими, пропадавшими в мешках, прищуренными глазками, в которых светилась золотая искра лукавого смеха и спокойно рассказывал. Но вы видели и слышали героев его рассказов, как будто они сидели тут же рядом с вами в комнате. Способность одной, еле намеченной, интонацией создавать художественный образ — был его, горбуновский, секрет. В известном рассказе „Почему народ собравшись“ Горбунов давал десяток портретов, отчетливо, явственно отличавшихся друг от друга, а голос был тот же, и лицо то же — разве иногда бровь поднималась, или слегка опускалась губа. И слушая Горбунова, я понял тургеневское определение „искусство —

это чуть-чуть“. Когда второй графин приходил к концу, дамы удалялись, как из запретных зал неаполитанского музея римских древностей, и И. Ф. приступал к рассказам, не вошедшим в полное собрание его сочинений, однако, не менее ярким и сочным. Если он не рассказывал, то жаловался на дирекцию и режиссуру Александринского театра, не дававшую будто бы ходу его дочери-актрисе. Горбунов, конечно, прекрасно рассказывал и со сцены, и с эстрады, но это все же не могло идти в сравнение с рассказами за столом, пред графином водки и полудюжиной пива „Ах, отчего я так много доволен?“. „От того я так много доволен, что я хороший человек“... Смесь простодушия и лукавства под покровом напущенного равнодушия и неискреннего примиренчества, и приэтом ум — в каждом как будто зряшном слове, в каждой интонации — и вместе с тем ум, сам себе поставивший границы и межевые столбы, за которые дескать, не заношусь — все это было так удивительно народно, по-великорусски, так исключительно самобытно...

XIII.

Театр Литературно-Артистического кружка. — А. С. Суворин.

С первых же дней в кружке почувствовался дух А. С. Суворина. Если мне удастся продолжить свои воспоминания, то, конечно, к Суворину придется возвращаться не раз. Он заслуживает этого не только по той огромной роли, которую он играл в растленной жизни дореволюционной России, но и как весьма сложная и крайне показательная, в национально-психологическом аспекте, талантливая русская натура. Когда он в своей меховой шапке, растегнутой шубе и с крепкой палкой являлся с мороза за кулисы театра, мне почти каждый раз приходило в голову фигура Грозного царя Ивана Васильевича. Он мне казался отчасти и лицом с ним схож. Что-то лисье в нижней челюсти; в оскале рта, и острое в линиях лба. Иногда, когда он задумывался и затихал с какой-то тайною иронической мыслью, у меня вставал в памяти Мефистофель Антокольского. Нет ничего ошибочнее, как судить о Суворине простейшим способом: был, дескать, стяжатель, и для благ земных вилял хвостом и стремился угодить начальству. Во-первых, что такое стяжательность? Стяжательность может-быть явлением физиологически простым, как аппетит; может быть страстью, и, наконец, может быть формой стремления к власти и силе. Я думаю, что стяжательность Суворина была последнего рода. Его бесхозяйственность — а нововременская бесхозяйственность была притчей во языцех — свидетельствует о том, что его увлекало не столько пополнение средств, сколько распространенность владения, „экспансия“, как нынче говорят. В. Г. Авсеенко очень метко выразился о Суворине, что он количество предпочитал качеству; точнее, следовало бы сказать, что количественный коэффициент подавлял в нем качественный. Сколько раз я был свидетелем того, как Суворин бранил каких-нибудь актеров и актрис, а затем, по мере того, как эти недостойные и беста-

ланные, по его мнению, люди завоевывали себе успех и наполняли театральную залу — менял о них свое мнение. Он, действительно, менял его порою, а не только притворялся, что меняет. Ему импонировал успех, а успех он измерял арифметически и не потому, что был жаден к деньгам, а потому, что без успеха, без обширной аудитории, — хотя бы это была аудитория Апраксинского рынка — он не мог себя вообразить, и задохся бы в почетной безызвестности, как в безвоздушном пространстве. Он был „кокет“ по натуре своей, и хотел прежде всего нравиться. Ведь кокетство и есть стремление вообще нравиться, всем нравиться, а не желание понравиться такому-то и такому-то. Это инстинкт обольщения, почти нечто художественное. Публика должна ходить в его театр, читать его газету. Он совсем не понимал, что за одного битого двух не битых дают, и что существует понятие так называемого „морального успеха“. „Моральный успех“ был для него постным блюдом. Газету во что бы то ни стало должны читать. Когда во время революции 1905 — 6 года публика набросилась на газеты левого направления, и состязание с радикальной журналистикой оказалось не под силу „Нов. Вр.“ — он завел в отделе объявлений пикантную страницу спроса и предложений. Для политики читали социалистические и радикальные газеты, — в „Нов. Вр.“ искали французенок, дающим уроки взрослым лицам и т. п. Все эти гнусности печатались да печатались, и поддерживали тираж. Но едва, после разгрома Думы и нового закона о выборах, настроение обывателей перегнулось в октябристскую сторону, а следовательно, фонды газеты вновь поднялись, как пикатные объявления сразу же были убраны. Они стали Суворину не нужны; деньги, которые они приносили, ему были ненужны, потому что деньги, сами по себе, а не как показатель и мерило успеха, в глазах Суворина особого значения не имели.

Его сила, секрет его влияния и острота его взгляда были в том, что он, подобно одному из крупнейших политических и философских гениев, очень глубоко проникал в дурную сторону человеческой натуры. Как пишет Леру о великом его прототипе, „il pénétrait fortement sur le côté mauvais de la nature humaine“. И к этому присоединилось еще злорачество падшего ангела. Он, несомненно, был падший, и отлично это понимал. Он знал, что его и его газету ненавидят все, что в России было прогрессивного и что вело упорную, и порою,

казалось, такую безнадежную борьбу с полу-феодалным русским бытом. Пред ним лежали старые номера „С.-Пет. Вед.“. Корша, составившие ему репутацию чистокровного и, так сказать, густо-псового либерала. Теперь он „добился высшей власти“ — но считают его ренегатом, отступником, запроданной душой. И ему доставляло поэтому неизъяснимую радость, когда ему казалось, что порядочных людей нет, и что стойкость взглядов и верность себе — только воображаемые понятия. Словно рыбак, он забрасывал удочку с приманкой и испытывал истинное наслаждение, когда на его крючок попадалась крупная рыбешка. Он был „ловец душ“, и в этом заключалась подлинная радость его бытия и цель его обольщения. Он был очень умен, очень презирал людей, и насыщать это чувство презрения к людям составляло постоянную его заботу. Несомненно, как талантливый человек, он не оставался, не мог оставаться равнодушным к дарованию. Но в этой любви к таланту было не одно бескорыстное увлечение прекрасным и художественным, но и чувство удовлетворения, что даровитый человек так же уклончив, неустойчив, так же подвержен слабостям и подторговывает совестью, как и он сам. Я уверен, что, носясь так с Чеховым, он не только любил очарование его таланта, но и праздновал победу свою. Чехов был — дорогая любовница, дорогая метресса „Нов. Вр.“. В том, как он угощал Чехова, как он глядел на него, как обволакивал его взглядом, было что-то напоминающее богатого содержателя, вывозящего в свет свою новую „штучку“ — такое по крайней мере впечатление произвел на меня один памятный вечер, проведенный с Чеховым и Сувориным в московском „Славянском Базаре“.

В пределах своей нравственной природы и податливости, Суворин был весьма интересный, живой, порою юношески увлекающийся человек. Я помню, однажды я шел с ним по улице и о чем-то беседовал, — о каких-то статьях в „Нов. Врем.“, — и не знаю, по какому поводу, я сказал, что мне очень нравятся статьи Розанова, который тогда только начал печататься в „Нов. Врем.“ Суворин вдруг остановился, взял меня за рукав, глаза у него засияли, так что очки на мгновение засверкали, как рефлектор, и воскликнул:

— А, видите, видите! Вот вы чувствуете. Я говорил, что это замечательный талант! Ну, я так рад, так рад! Знаете, наши-то (т.-е. Булгаков и К⁰) ничего не понимают...

И в эту минуту он был близок к тому, чтобы расцеловать меня за то, что я хвалил Розанова.

Он был, по общему мнению, бесхарактерен. Во второстепенном и несущественном—с этим я согласен. Он просто не давал себе труда быть твердым в том, что казалось неважным: Кроме того, это было выгодно, — носить маску бесхарактерности, чтобы свалить на нее, что надо было, и остаться в милых. Система фиктивной ответственности проводилась во всех его делах неуклонно. В „Нов. Вр.“, кроме „посаженного“ редактора Федорова, существовала еще целая редакция, будто бы распоряжавшаяся за его спиной, и когда появлялась в „Нов. Вр.“ какая-нибудь гадость, то принято было говорить: „Ох, этот подлец — такой-то!“ „Ах, этот мерзавец — такой-то!“. Про Суворина же в этих случаях никто не заикался. Все гадкое — это было помимо его. Все хорошее было — благодаря ему. Этой официальной версии придерживались даже весьма умные и сведущие люди. „Ну, что Суворин“, — говорили в таких случаях, — „разве он знает, что делается у него в газете?“ Сам он только отмахивался рукой, когда говорили что-нибудь нелестное про напечатанное в газете. А между тем каждую ночь он внимательно читал гранки и полосы, и, когда нужно было, выкидывал и вставлял, не стесняясь техническими трудностями печатания. Он ложился спать по обыкновению часов в 6 утра, потому что-де „страдал бессоницей“. Но в действительности он в 3—4 часа читал газетные полосы, и не пропускал ни разу, если был здоров, этой своей обязанности. Он был труслив; эта была основная черта не только его натуры, но и его произведений. У него есть пьеса, кажется под названием „Вопрос“. Весь „вопрос“ в том и заключается, что он не решается сказать, как же должно поступить; и так хорошо, и эдак недурно. В своем „Дмитрие Самозванце“ он как будто убежден, что Дмитрий — подлинный царевич; но как же можно сказать это? И он немедленно начинает вилять и спутывать следы... И так, и этак, и понимай, как знаешь. И когда он в своих статьях кого-нибудь продергивал, то и тут оставлял себе лазейку: какой-нибудь комплимент скажет, или вдруг ласково и хитро улыбнется...

В нем отсутствовало главное, что возвышает человека и делает его прекрасным: великодушие. Он совсем не знал, что такое „милость к павшим призывать“, бороться с силь-

ным, именно потому, что оно сильное, и снисходительно прощать слабым, потому что они слабые. Наоборот, он набрасывался на слабое, неспособное защищаться, и склонялся перед сильным. Он всегда готов был присоединиться к стану победителей, и никогда не заключал союза с побежденными. И это было и в малом, и в большом. Он охотно давал и бросал деньги, потому что эти подачки, в сущности, унижали тех, кому они бросались. Его забавляла лесть „придворных“, но с другой стороны, он так привык к этой лести, что и негодовал, и изумлялся, когда не встречал ее. Случалось, что он даже уважал таких, которые держали себя самостоятельно. В числе сотрудников „Нов. Вр.“ был ген.-майор Вишневский, подписывавшийся „Черниговец“. Однажды он написал ему стихотворное послание, в котором излагал все обиды свои. Стихотворение заключалось следующим образом:

Рожденный отпрыском казачьим,
Не стану гнуться я в дугу,
Могу я быть г..... собачьим
(любимое словечко Суворина)
Но хамом — быть я не могу...

С тех пор Вишневского оставили в покое, и положение его у Суворина укрепилось

Суворин ухватился за костромитиновский кружок, потому что кружок давал ему возможность делать что угодно, и в то же время это были прекрасные ширмы, когда являлась надобность сложить с себя ответственность. В „Нов. Вр.“ был редактор — Федоров; в „Кружке“ была — дирекция. По молодости лет, я не совсем ясно понимал это и некоторое время, так сказать, состоял одним из театральных Федоровых. Вначале, впрочем, разногласий не замечалось. Все стремились к устройству спектаклей, которые могли бы оживить вялую рутину существовавших театров. Первый спектакль был устроен в зале Кононова, у Полицейского моста. Он был довольно неудачен, чтобы не сказать более, и состоял из „приписываемой Шекспиру“ „Йоркширской трагедии“, выкопанной П. П. Гнедичем, также состоявшим в дирекции кружка, и одноактной оперы, кажется, В. И. Главача — „Прохожий“, по известной пьесе Фр. Коппе. В первой пьесе подвизался В. П. Далматов, раставшийся с казенной сценою, и рычавший по-йоркширски, а во второй выступила дочь В. И. Главача, обладавшая сильным голосом. Я больше помню ее румяные

щеки, нежели ее игру. Румянец у нее был, действительно, замечательный, и объяснялся он тем, что эта молодая девушка всю свою жизнь ничего не ела, кроме яблок и хлеба, и ничего не пила, кроме молока. Это, несомненно, содействовало здоровью, но не придавало ей особенной артистичности. „Приписываемая Шекспиру“ трагедия оказалась весьма нелюбопытным образцом дошекспировского творчества, в духе Грина, Марлоу и др. Постановка была самая примитивная, и все, в общем, было никому ненужно. П. П. Гнедич поджигал губы и доказывал, что постановке „Иоркширской трагедии“ будет, несомненно посвящено особенное внимание в трудах „Шекспировского Общества“. Но это никого не утешало.

Гораздо удачнее была вторая постановка — в театре Панаева — „Ганнеле“ Гауптмана. Перевел „Ганнеле“ В. П. Буренин, он же ее и рекомендовал для постановки. Пришлось немало повозиться с цензурой, так как в пьесе появляется, под видом школьного учителя Ганнеле, Христос. Более христианскую пьесу, нежели „Ганнеле“, трудно себе представить. Но точно также трудно себе вообразить что-либо более тупое и слепо-каноническое, чем око духовной цензуры. Кажется, переименовали всех: ангелов — в зефиров, Христа — в странника, небо — в ночной туман на дороге и рай — в сад при загородной вилле. Все-таки пьеса пошла, и смысл ее был совершенно ясен. Режиссировал П. Д. Ленский, актер Александринского театра, тоже один из директоров „Кружка“. Суворину очень импонировало, что Ленский был князь Оболенский — старший линии — Овчина-Телепнев-Оболенский. Между прочим, этот подлинный чуть ли не Рюрикович прекрасно играл купцов и мещан и вообще, хамоватых людей, и был слаб в ролях аристократов.

Спектакль понравился, был повторен несколько раз при полных сборах, и Суворин взыграл духом. Он особенно увлекался игрой актрисы Озеровой, в роли Ганнеле, и предсказывал ей великую будущность. Суворин судил иногда слишком примитивно о театре и впадал в ошибки. Так вышло и с Озеровой. Он смешивал талант с истерией и драматическую силу выражения с кликушеством.

Спектакли состоялись на пасхе, и уже в мае на заседаниях дирекции кружка стали говорить, что А. С. Суворин решил создать постоянный театр, для чего ведет переговоры

с гр. Апраксиной, владелицей Малого театра. В „Нов. Врем.“ появился ряд статей, доказывавших необходимость учреждения такого свободного „вольного“ драматического театра.

Я придерживался того взгляда, что это ненужно и рановременно. Писал об этом в газете и говорил с А. С. Сувориным. По обыкновению, доводы мои и соображения были очаровательны по своей наивности. Я находил, что, давая спектакли время от времени, кружок может делать лучший выбор репертуара, и более тщательно обставлять пьесы, в процессе же обычной сезонной работы театр потеряет свежесть своего влияния и впадет в рутину. Словом, как говорится у Пушкина:

Я боюсь, среди сражений
Ты утратишь навсегда
Робость милую движений,
Прелесть неги и стыда..

Стоило ли серьезно возражать на это? Это было все равно, как если бы я стал горячо убеждать Суворина закрыть „Новое Время“, и издавать, время от времени, сборник хороших, ярких, талантливых статей. Суворин, после первых же удач, быстро сообразил, что театр может сделаться для него дополнительной „кафедрой“ влияния на публику, на литературу и на власть предрежающую. И кроме того—нужно признать этот осадок бескорыстия в душе Суворина — он, действительно, увлекался новой игрушкой, потому что из всех человеческих игрушек театр, в своем целом, в своем механизме, в интимной стороне своего существования, есть самая соблазнительная, самая дорогая и конечно, самая жестокая игрушка.

Однообразие газетной работы ему прискучило. Что делать по вечерам? Куда девать время от обеда до того позднего часа, когда из типографии приносят полосы завтрашнего номера? И было очень занятно провести три-четыре часа среди закулисной сутолоки, раскрашенных и ярких физиономий, окунуться в какие-то совершенно новые и острые интересы, и потом, вернувшись к письменному столу, взять синий карандаш и следить за тем, как „изворачивается“ Фердинанд, и еще больше, как изворачиваются натасканные и хорошо тренированные сотрудники „Нов. Вр.“, стараясь сохранить достоинство в недостойном положении.

Вопрос о театре был настолько решен, что об нем даже речи не возникло в заседаниях так называемой „дирекции“.

Замещавший Суворина тов. председателя А. П. Коломнин ясно указал, что если „дирекция“ будет отбрыкиваться, то и без нее дело обойдется. Театр-де снимается на имя А. С. Суворина, и если кружок желает, то Суворин жалует ему титул содержателя театра, а не желает — оставайтесь без театра с одними воспоминаниями о Костромитинове. Монархическая и деспотическая натура А. С. Суворина сказала резко и ясно. По настоящему, членам „дирекции“ следовало, взявши шапки, разойтись, но духу ни у кого не хватило. У одних были смутные надежды на великие новременские милости, другие надеялись, что в театре все-таки будет весело, а там втроем слепить и водевильчик можно; третьи — вообще отличались беззаботностью. Меня смущала также тень „умученного“ Костромитинова, вверившего, так сказать, мне свое сокровище. Как же так, вдруг, все погибнет...

Словом, все остались на местах, и мрачно винтили в новом помещении кружка — на Невском, против Гостиного Двора. Под помещением кружка был татарский ресторан „Афганистан“, и это представляло большие удобства. Кружок имел таким образом буфет. Холева часто закладывал банк, его обыгрывали. Играли все литераторы и журналисты. Сначала, пока имелись деньги, на таковые, а потом, с самым серьезным видом, на мелок. Делали ставки по 5.000 руб. — своя рука владыка. Однажды дирекции кружка пришлось рассматривать курьезное дело о проигрыше одним из секретарей „Нов. Врем.“ сотруднику других газет 14.000 руб. Выигравший великодушно делал скидку и соглашался на... 500 рублей. Но так как и 500 руб., само собою, тот заплатить не мог, то после долгих споров и пререканий, был выработан компромисс, записанный в журнал „дирекции“: проигравший уплачивал 45 руб. и сверх того, 15 руб. штрафа в пользу клуба.

А Суворин рыскал и составлял труппу. Ему рекомендовали (кажется, это была рекомендация Н. Ф. Сазонова) Е. П. Карпова, ставившего „народные“ спектакли где-то за Нарвской заставой, и, вдвоем с Карповым, они ездили по летним садам и театрам. Эти розыски дали, действительно, несколько ценных исполнителей: Домашеву, Орленеву, Холмскую и др. „Дирекция“ узнавала эти интересные новости большей частью от Коломнина. Со своим безличным положением „дирекция“

уже примирилась, но все же старалась поддерживать „престиж“, и изредка устраивала для вновь приглашенных и приглашаемых „своих артистов“ вечера с угощением от „Афганистана“. Так и рекомендовались: „директор“ или „член дирекции“. Актрисы делали глазки, актеры с оттенком подострастия рассказывали анекдоты. Было лестно. Каюсь, и я был не без греха в этом смысле. Конечно, чуть-чуть было стыдно, но не хватало духу сказать:

— Извините, очаровательная дама или прекраснейший кавалер, но мы в сущности, даем только вывеску, завешанную нам Костромитиновым. Фасад у нас хороший, незапятнанный, так нам, знаете, за чистоту нашу и присвоили титул... И ничего больше-с!

Это фальшивое и глупое положение, которое я очень хорошо чувствовал, тянулось несколько лет, и я был несказанно рад, когда, благодаря одной резкой бестактности новременской клики, нашел случай открыто и явно порвать с театральным учреждением А. С. Суворина. „Дирекцию“ созывали для обсуждения театральных вопросов подобно дореволюционным „Etats généraux“ и земским соборам — когда надо было констатировать торжественное единение царя с народом, или в случае каких-нибудь междоусобных или внутренних скандалов и осложнений. „Дирекция“ кричала „ура“ и делала соответственное постановление. Кроме того „дирекция“ давала возможность А. С. Суворину, у которого, как я уже заметил, были черточки царя Ивана Васильевича, несколько раз отречься от царства. Дескать, театр ему надоел, опостылел, он очень в нем разочаровался, и вообще, он хочет на покой, в монахи. Тут разыгрывались, можно сказать, мастерские сцены лицемерия и холопства. Актрисы трагически припудривали лица и вспухшие от слез глаза, герои—любовники и резонеры—отправлялись на Николаевский вокзал, где буфет был открыт почти всю ночь, пить водку с горя и отчаяния, а дирекция заседала „непрерывно“.

К Суворину отправлялись делегации за делегациями. Все были: И на кого ты нас покину-у-ул? И как же нам без тебя—бы-ы-ыть? И что же нам, сиротинушкам, дела-а-ать? Наконец, вняв воплям и слезам, Алексей Сергеевич снисходил и вновь возлагал на себя венец и бармы театрального Мономаха. Ну, тут уже шел пир горой, и за кулисами христосовались, как в светлое воскресенье. Все это было в до-

статочной мере противно. И я воображал себе только, что было бы, если бы „дирекция“ вместе с театральными подданными сказала: „В виду того, что А. С. Суворин пожелал идти в монахи, так пусть и идет себе к монахам. Принимаем к сведению“. Батюшки, как стал бы барахтаться наш Иван Васильевич! Но он хорошо знал психологию нашего русского исторического холопства.

Подобно тому, как существовала „соломенная дирекция“, имелся и целый ряд пайщиков театра с „соломенными правами“. Пайщикам состоял кружок (впоследствии переименованный в Общество), отдававший на ведение театра все свои карточные доходы; пайщиками были почти все издатели газет—Проппер, Худеков, Нотович и др. Значения эти пайщики не имели никакого, дивиденд получали в редчайших случаях и очень мизерный. Суворинского театра не любили, и в газетах своих иногда даже отваживались его поругивать. Зачем, казалось бы, состоять пайщиками в таком деле и вносить на процветание его свои деньги? А между тем как-то так вышло. И если дополнительный взнос требовался, то и дополнительно вносили. В глубине души Суворина побаивались—издатели не меньше обывателей. Poleмика с „Нов. Врем.“—если это можно было назвать полемикой—не предвещала ничего хорошего, и лучше было жить в некотором, хотя бы наружном, мире с суворинской газетой. И потом, „Новое Время“, в глазах „Пет. Газ.“, „Бирж. Введ.“ и т. п., было литературным „бомондом“, „большим светом“. Пожалуй, это было даже самое главное соображение. Суворин отлично понимал своих „конфреров“, читал в их душах, как в открытой книге, и иногда злобно, по шельмовски, издевался над ними. Сейчас мне вспомнился штришокodin, очень характерный для Суворина. Дело происходило на банкете, который петербургская печать устроила в честь французских моряков и журналистов, прибывших с эскадрой для очередного укрепления „альянса“. Само собою, Суворин был центром французского кружка. Пред ним рассыпались мелким бесом, изредка бросая снисходительный взгляд и на других „представителей политической мысли“, стоявших на почтительном расстоянии.

Я не знаю, о чем болтали французские confreres—степень их легкомыслия выходит за пределы самых смелых предположений—как вдруг Суворин обратился к „представителям русской политической мысли“.

— Вот, господа, сейчас французы высказали одну замечательную мысль. У них во Франции печать резко делится на монархическую и республиканскую. А ваша—говорят они— т. е. наша русская, печать вся сплошь монархическая. А ведь это, действительно, так! Наша печать — вся монархическая. Почему бы это так?

Представители русской политической мысли не замедлили сочувственно закашляться, и понемногу отошли прочь. Суворин стоял с натуральным видом *ingénieur*, как самая талантливая актриса его театра, и поглядывал на конкурирующих представителей русской политической мысли, поверх сверкающих очков.

Моя невольная близость к суворинскому театру, как мне кажется, все же сослужила мне, как театральному критику, не малую службу. Я впервые столкнулся, лицом к лицу, с театральной лабораториею. Для правильности суждения, даже при изошренном чутье, недостаточно, мне кажется, общего впечатления, а нужно также профессиональное знакомство с делом. Театральная критика оттого, между прочим, произвольнее и ошибочнее других родов критики, что о литературе, положим, пишет умеющий писать писатель, о музыке—музыкант и т. д., о театре же только зритель, один из публики — более, пожалуй, чуткий, образованный и даровитый, но все же только зритель. А впрочем, что такое, вообще, художественная критика и существует ли более неблагодарный род занятия? И. Н. Потапенко, разозлившись на какую-то рецензию, однажды сказал мне:

— В Одессе я спросил одну хохлушку, что такое критика? „А як же — ответила она мне — критики-то чи хвалят, чи ругают“...

Ну, а что же еще есть объективно существенного и важного в критике? Научность? Но „научная критика“ и есть научная дисциплина, а не критика.

В то время, однако, я был полон еще веры в могущество критического слова. Самое же главное, вращаясь в закулисном мире, я сталкивался со всякого вида рекламой, с рецензентскими отметками, в которых каждое слово предварительно взвешивалось и процеживалось, в соответствии с тысячею влияний, соображений и обид. Один мой приятель справедливо называл эти рецензентские отметки — „дипломатическими нотами“. И точно, дипломатии здесь было сколько угодно,

и ни капли энтузиазма. Если бы историк театра вздумал написать беспристрастную историю театральной эпохи по рецензиям, то, предварительно, ему пришлось бы самые рецензии подвергнуть тщательному критическому и документальному анализу, снабдив их обширнейшими пояснениями и комментариями. Почему „прекрасно по обыкновению“ играет такой-то? Почему тот только „поддерживал ансамбль“, — никогда больше, никогда меньше? Всему были свои объяснения и причины. Заметки и рецензии „Нов. Врем.“ о театре, и не только о собственном (это еще с полбеды), а и о других, носили многочисленные следы самых разнообразных наслоений и формаций. Нужно было не повредить себе; нужно было не очень много пользы принести конкурентам; нужно было, умеючи, бранить и, умеючи, хвалить. И чтобы все это было похоже на правду. Однажды, удрученный состоянием театральной критики, разменявшейся на дипломатические, а пуще всего, бессодержательные заметки, я стал доказывать А. С. Суворину, что необходимо завести театральный фельетон, по образцу литературного; что так де и в иностранной печати ведется; что это поднимет авторитет и пр. Суворин, находившийся в этот вечер в откровенном настроении, махнул рукой и молвил: „театральная критика“! Всего только и сказал, но я до сих пор не могу забыть всей жгучести и глубины презрения, заключавшихся в его интонации. Иногда он был искренен: был „рыцарь на час“, как Некрасов. Вообще же, об искренности у него сказано как-то в письме к Розанову (в опубликованной последней книжке): „У нас совсем нет искренности; в России искренни только евреи“. Как то, много лет спустя, я столкнулся с Сувориным в партере Александринского театра, в антракте, на какой-то премьере. У него был озабоченный и рассеянный вид и куда-то в сторону устремленные глаза.

— Где Беляев, вы его не видели? — спросил он меня. — Хочу уехать. Надо ему сказать, что написать в рецензии.

Таковы были, как говорится, „les dessous“ театральной рецензии. Все чаще и чаще одолевало желание иметь в своем распоряжении орган, в котором не один лишь каприз и скоропреходящий интерес, но и театральная критическая мысль находила бы свое отражение. И, наконец, свобода — свобода своей собственной души, своего права — вот чего не хватало, как воздуха. Я страдал некоторою гипертрофиею чувства независимости, даже тогда, когда сознавал вред гордости

и крайность своего индивидуализма. Я мог путно писать, только чувствуя себя независимым — от предустановленной тенденции, от соображений целесообразности, от действительно или даже мнимого, воображаемого давления. Полнота внутренней жизни, впрочем, находится в соответствии с иллюзией свободы, и может быть, потому, не такой уже большой грех — мое стремление к совершенной самостоятельности.

Психологическая почва, подготовившая издание „Театра и Искусства“ была, таким образом, готова. Откровенно говоря, я бы предпочел журнал более общего характера. Но разве можно было мечтать о получении концессии на такое издание — кому? Мне? В Главном Управлении по делам печати господствовал подлинный дух инквизиции. Феоктистова, много лет возглавлявшего Главное Управление, уже не было давно. Эпитафией ему служило шуточное четверостишие, ходившие по рукам:

Важен, толст, как частный пристав,
Жертва злобной клеветы,
Пал великий Феоктистов —
С двухаршинной высоты...

Начальником состоял Н. М. Соловьев, друг Победоносцева, знаток византийского орнамента. Это был крайне неуравновешенный, почти сумасшедший человек, — новое издание „фаршированных мозгов“, как у городничего в „Истории одного города“. Сухой, нервный, чуть чуть косоглазый, он мрачно шагал по аппаратам Главного Управления по делам Печати, наводя страх и трепет даже на курьеров. Учесть, что он сделает и чего не сделает, было совершенно невозможно. Мрачный дух Торквемады соединялся в нем с ненавистью к издателям — капиталистам. Он призывал их по очереди (кроме Суворина, конечно) и навязывал им редакторов из литераторов, к которым был расположен. Например, он ко всем приставал, требуя редакторского места для И. Л. Щеглова. Вообразить Щеглова редактором могли, действительно, только „фаршированные мозги“. Об евреях суждение его было весьма определенное и краткое.

— Лучшего из них надо повесить — говаривал он в добрые минуты.

Конечно, рассчитывать на то, что Соловьев разрешит издание общего характера, было совершенно бессмысленно. Иное дело — театральное издание! Театр всегда рассматри-

вался, как милое, природе человеческой необходимое, и потому терпимое, непотребство. И театральный журнал — что такое в сущности театральный журнал? Орган терпимости! И сама испанская инквизиция, сжигавшая за всякое покушение на добрые нравы, мирилась с целыми непотребными кварталами. Тут была надежда на успех, если, конечно, умеючи, взяться за дело.

Так, постепенно, слагалась мысль об издании театрального журнала и приобретала реальные очертания. Потом это совершилось, и значительная часть моей жизни оказалась связанной с моим издательством. Но повесть об этом и о тех людях, которых я встречал, знал и видел вокруг и внутри театра, и, в частности, о деятелях литературы, длинной чередой прошедших мимо меня — составит уже предмет другой книги.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
От автора	5
I. Гимназия и университет	
II. Первые дебюты.—„Стрекоза“	15
III. Сотрудничество под маской.—„С.-Пет. Ведомости“ В. Г. Авсеенко	25
IV. Первые театральные рецензии.—„Минута“ Добродеева	41
V. „Петербург. Газета“ и ее сотрудники	61
VI. Л. М. Карачунский и реформа „Минуты“	75
VII. Печать при Александре III.—Тишь да гладь	82
VIII. Московская журналистика.—В. М. Дорошевич	93
IX. „Новости Дня“ и редакция газеты.—А. Я. Липскеров и Н. И. Пастухов	104
X. Пресса и биржевая игра.—Парижские впечатления	115
XI. „Касса взаимопомощи“. — Г. К. Градовский. — „Бирж. Вedom.“	134
XII. Смерть Александра III.—Основание литературно-артистического кружка	146
XIII. Театр Литер.-артистического кружка.—А. С. Суворин	158



ПЕТРОГРАД
Проспект Володарского
(бывш. Литейн.), № 51.
Телеф. 5-61-46.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПЕТРОГРАД“

Отделение в МОСКВЕ
Петровка, 7,
книжн. магаз. „МАЯК“.
Телеф. 1-48-92 и 44-74.

Журналы и сборники.

- „АННАЛЫ“. Журнал всеобщей истории — Российской Академии Наук. Под ред. акад. Ф. Успенского и Е. Тарле. Кн. I—IV.
- „РУССКОЕ ПРОШЛОЕ“. Исторические сборники под ред. С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова и Юлия Гессена. Кн. I—V.
- „АРГОНАВТЫ“. Сборники по искусству под ред. Н. Лансере (архитектура), Д. Митрохина (графика) и Э. Голлербаха (живопись и прикладное искусство). Кн. I.
- „ПЕТРОГРАД“. Литературный альманах, под ред. А. И. Гессена и И. Б. Лившица. Стихи, рассказы и статьи Ф. Сологуба, М. Кузьмина, Е. Замятина, В. Рождественского, Т. Манна, М. Слонимского, Д. Айзмана, А. Гизетти, В. Ходасевича, В. Азова, Конан-Дойля, Н. Тихонова, Я. Бердникова, А. Кугеля, С. Нельдихина, Г. Лазаревского, В. Онегина, Д. Выгодского, Л. Гессена, А. Рашковской, Г. Манна, И. Груздева, П. Губера, А. Тивякова. Кн. I.
- „ЕВРЕЙСКИЙ АЛЬМАНАХ“. Под ред. Б. А. Кауфмана и И. А. Клейнмана. Стихи, рассказы и статьи П. Губера, Д. Эйнгорна, Л. Лунца, С. Черниховского, В. Овчинникова, Д. Фришмана, А. Соболя, И. Бреннера, Г. Шофмана, С. Гинсбурга, С. Цинберга, А. Горнфельда, И. Клейнмана, Д. Благое, Н. Брюлловой, Н. Бухбиндера, В. Бинштока.

Мемуары. История.

- М. ПАЛЕОЛОГ. Царская Россия во время мировой войны. Т. I и II.
- П. П. ИЗВОЛЬСКИЙ. Записки и воспоминания б. русского министра иностр. дел.
- Ф. НИТТИ. Европа без мира. Перев. с итальянского.
- Г. НОСКЕ. Записки о германской революции. Перев. Г. И. Гордона.
- Г. КУРЛОВ. Конец русского царизма. Воспоминания бывшего командира корпуса жандармов.
- Р. де-ла-БРЕТОНЬ. В революционные ночи. Перевод с франц.
- Дж. РОКФЕЛЛЕР. Мемуары.
- А. КАРНЕДЖИ. История моей жизни. Перев. с английского.
- Я. ВАССЕРМАН. Мой путь, как немца и еврея. Перев. с нем.
- Вл. КАНТОРОВИЧ. Три монарха. Людовик XVI, Карл I, Николай II.
- Е. ДЖАНУМОВА. Мои встречи с Распутиным.
- Графиня М. КЛЕЙНМИХЕЛЬ. Из потонувшего мира.
- З. ГИПНИУС. Аний домик (А. Вырубова). Перев. с французского А. Риммер.
- Ж. ЛЕНОТР. Старые годы, старые письма.
- Ж. ЛЕНОТР. Монархические агенты во Франции в эпоху революции и империи.

ПЕТРОГРАД
Проспект Володарского
бывш. Литейн.), № 51.
Телеф. 5-61-46.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПЕТРОГРАД“

Отделение в МОСКВЕ
Петровка, 7,
книжн. магаз. „МАЯК“.
Телеф. 1-48-92 и 44-74.

Леди АСКВИТ. Мемуары.

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ (Не Буква). Романовы. Портреты и характеристики.

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ (Не Буква). Николай II.

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ (Не Буква). Белые мемуары.

А. ГУРОВИЧ. Записки эмигранта.

С. ЛЮВОШ. Последние Романовы. Портреты и характеристики.

С. Ф. ПЛАТОНОВ. Петр I.

Е. В. ТАРЛЕ. Три катастрофы.

Е. В. ТАРЛЕ. Рур.

А. И. ЗАОЗЕРСКИЙ. Крепостное хозяйство и крестьянский вопрос в России.

Е. В. ТАРЛЕ. История Англии в новейшее время.

С. Н. ДАНИНИ. История Франции в новейшее время (1870—1923).

С. В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Сословный строй в России.

О. Е. КОРНИЛОВИЧ. Общественное движ. в России в XV и XIX вв.

П. ДЮБУА. Ирландская драма.

Художественная литература.

Евг. ЗАМЯТИН. На куличках. Повести и рассказы. Обложка В. Д. Замирайло.

Е. ФЕДИН. Сад.

В. М. ДОРОШЕВИЧ. Легенды и сказки. Обложка В. Д. Замирайло.

А. АДЭС и А. ИОСИПОВИЧ. Простак. Роман.

Н. АЛЬТЕНБЕРГ. Сумерки моей жизни.

М. БАРРЕС. Сад на берегу Оронта. Перев. П. К. Губера.

ПЬЕР БЕНУА. Девственница. Роман. Перев. В. Онегина. Обложка И. В. Симакова.

Р. де-ла БРЕТОНЬ. Революционные ночи. Перев. А. Н. Чеботаревской.

П. БУРЖЕ. Тюрьма. Роман. Перев. И. Б. Мандельштама.

Х. БЯЛИК. Рассказы. Авторизованный перевод Д. И. Выгодского.

Я. ВАССЕРМАН. Три ступени. Перев. с немецкого.

Я. ВАССЕРМАН. Уши господина маркиза.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН. Стихи в переводе Ф. Сологуба.

М. ГАЛЬВЕЦ. Наха. Роман. Перев. А. Я. Острогорской.

К. ГАМСУН. Женщины у колодца. Роман. Перев. Э. К. Пименовой.

Г. ГАУПТМАНН. Призрак. Роман. Перев. В. Л. Щегло.

Г. ГЕРМАНН. Кубинке. Роман. Перев. с немецк. М. М. Гутмана, под ред. В. Азова.

Г. ГЕРМАНН. Снег. Роман. Перев. Е. Хорошинской.

Г. ГЕССЕ. Сидхарта. Роман.

Норберт ЖАК. Пороховой завод. Роман.

Г. ЗУДЕРМАН. Картинки моей юности. Перев. Г. И. Гордона.

ВЛАСКО ИВАНЬЕС. Женский рай. Роман. Перев. с испанского Д. Выгодского и В. Узина.

ПЕТРОГРАД
Проспект Володарского
бывш. Литейн.), № 51.
Телеф. 5-61-46.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПЕТРОГРАД“

Отделение в МОСКВЕ
Петровка, 7,
книжн. магаз. „МАЯК“.
Телеф. 1-48-92 и 44-74.

- ЖАК де-ЛАКРЕТЕЛЛЬ.** Еврей (Зильберман). Перев. П. К. Губера.
В. Дж. ЛОКК. Рыжий варвар. Роман. Перев. с англ. А. В. Лучинской.
В. Дж. ЛОКК. Демагог и леди Файр. Роман.
Джек ЛОНДОН. Пытка. Роман. Перев. с англ. Э. К. Пименовой.
Г. МЕЙРИНК. Летучие мыши. Перев. Дм. Крючкова.
Петер НАНСЕН. Любовь и молодость. Перев. Г. И. Гордона.
М. НЕКСО. Пролетарские новеллы. Перев. М. М. Гутмана.
ОВИДИЙ НАЗОН. Искусство любви. Перевод Д. Выгодского.
У. СИНКЛЕР. Христос в Уэстерн-Сити. Роман. Перев. А. Я. Острогорской.
У. СИНКЛЕР. Американские биржевики. Роман. Перевод Э. К. Пименовой.
У. СИНКЛЕР. Принц Гаген. Перев. А. В. Лучинской.
У. СИНКЛЕР. Четыреста (Нью-Йорк). Роман. Перев. Вл. Азова.
Р. ТАГОР. Дом и мир. Роман. Перев. С. А. Андрианова.
Р. ТАГОР. Новые рассказы. Перев. с англ. С. А. Андрианова.
Р. ТАГОР. Залетные птицы. Перев. с англ. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
Р. ТАГОР. Крушение. Роман. Перев. С. А. Андрианова.
Г. УЭЛЛС. Люди-боги. Роман. Перев. В. Азова.
Г. УЭЛЛС. Краткая история мира. Перев. В. Азова.
Г. УЭЛЛС. Колеса фортуны. Роман. Перев. В. Онегина.
Клод ФАРРЕР. Обреченные. Роман. Перев. А. Я. Острогорской.
Клод ФАРРЕР. Новые люди. Роман. Перев. А. Я. Острогорской.
Клод ФАРРЕР. Подружки. Роман. Перевод А. Григорьева.
Клод ФАРРЕР. Башня „А“.
Клод ФАРРЕР. Идиллия в масках.
Клод ФАРРЕР. Душа Японии. Роман.
Кл. ФИБИХ. Под деревом свободы. Роман.
Л. ФРАНК. Человек добр. Перев. с немецк. Г. И. Гордона.
А. ШНИЦЛЕР. Маски и чудеса. Перев. З. Н. Львовского.
Рих. ЭДЭН. Эйштейнова Соната. Роман относительности. Перев. В. Онегина.
Ал. ВЛОК. Двенадцать. Скифы.

История литературы. Вопросы искусства.

- Н. О. ЛЕРНЕР.** Облик Пушкина.
А. Р. КУГЕЛЬ (Ното novus). Театральные портреты.
А. Р. КУГЕЛЬ (Ното novus). Литературные воспоминания.
Д. О. ЗАСЛАВСКИЙ. Евреи в русской литературе.
В. М. ДОРОШЕВИЧ. Старая театральная Москва.
П. ГУБЕР. Дон-Жуанский список Пушкина. С 9 портретами.
П. Н. СТОЛЦЯНСКИЙ. Старый и Новый Петербург. — Историко-художественно-общественный путеводитель.
Э. ГОЛЛЕРБАХ. Петербургская графика.

ПЕТРОГРАД
Проспект Володарского
(бывш. Литейн.), № 51,
Телеф. 5-61-46.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПЕТРОГРАД“

Отделение в МОСКВЕ
Петровка, 7,
книжн. магаз. „МАЯК“
Телеф. 1-48-92 и 44-74.

- Э. ГОЛЛЕРБАХ.** История костюма в России.
Э. ГОЛЛЕРБАХ. Словарь русских и иностранных художников.
ДЕЙБЛЕР и ГЛЭЗ. В борьбе за новое искусство. (Экспрессионизм Кубизм).
К. ШТАРК. Жак-Далькроз и его система.

Общественные науки. Философия.

- Л. П. КЛЕЙНБОРТ.** Очерки рабочей журналистики.
Инж. В. ГАНТ. Организация труда.
Г. ВИНТЕР. Тейлоризм.
Д. КЕЙНС. Соединенные Штаты и Европа.
Д. КЕЙНС. Аграрная революция в Европе. Перев. с англ., под ред. Д. Заславского.
Д. КЕЙНС. Экономическая борьба на море.
Д. КЕЙНС. Продовольственный вопрос в Европе и Америке.
Проф. И. М. КУЛИШЕР. Червонцы.
Дж. СПАРГО. Он знал Маркса. Перев. с англ. под редакцией Д. О. Заславского.
Проф. Б. В. ТИТЛИНОВ. Новая церковь.
Архиепископ Ал. ВВЕДЕНСКИЙ. Революция в церкви и ее будущее.
Проф. В. Н. СПЕРАНСКИЙ. Ламеннэ, как политический мыслитель.
Р. ТАГОР. Личное. Перев. с англ. (с порт. автора).

Естествознание. Точные и прикладные науки.

- Проф. Н. А. ЯБЛОНОВСКИЙ.** Телеграфные аппараты.
В. И. ЛЕБЕДЕВ. Занимательная математика.
Проф. В. АРЕНС. Математич. игры и развлечения.
Проф. Л. ГЕФТЕР. Что такое математика.
Проф. Г. ГИНТЕР. Радио-Техника.
Проф. Ф. КЛЕМПЕРЕР. Туберкулез.
Проф. Э. ЗИМЕРЛИНН. Сон и бессонница.
Н. И. БЕРЕЗИН. Землетрясения.

Справочные издания.

- СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ.** Под редакц. Проф. С. А. Адрианова.
П. Н. СТОЛПЯНСКИЙ. Дачные окрестности Петрограда.

2.50

Mar. 45

6660/468

79

